

Отто Герхард Эксле (ФРГ)

**«История памяти» – новая парадигма исторической науки**

Тема «истории памяти» прозвучала уже в XIX в. в контексте различного понимания предмета исторической науки Л. фон Ранке и И. Г. Дройзеном. Ранке исходил из тезиса, что прошлое существует независимо от исследователя, поэтому историку важно максимально устранить свое *Я* и постепенно «восстанавливать из частей целое» «как это было в действительности». В противоположность такой (обоснованной метафизически) «объективности» Ранке Дройзен, основываясь на кантовском критицизме, настаивал на неизбежной субъективности исторического познания, на вовлеченности самого историка со всем его культурным опытом в процесс познания и, более того, на историчности этой субъективности: прошлого не существует, потому что оно прошло, есть только «воспоминание о прошлом», «вспоминающее настоящее». На рубеже XX в. эта мысль еще раз была обоснована кантианцами (М. Вебер, Г. Зиммель, Э. Трельч и др.), основоположниками «исторической науки о культуре». И ранкеанцам, и кантианцам в начале XX в. противостояли ницшеанцы (Ш. Георге, М. Хайдеггер, К. Шмитт), полагавшие, что все научное познание вообще является фикцией. После 1918 г. велись жаркие дискуссии вокруг научных парадигм и статуса научного познания, однако в споре участвовали только кантианцы и ницшеанцы. Ранкеанцы, т.е. *собственно историки*, не имея по-настоящему теоретической концепции, держались за свое «как это было в действительности». В 1933 г. ницшеанцы сумели воспользоваться захватом власти национал-социалистами, чтобы в прямом смысле покончить со своими идеологическими противниками. После судьбоносного «1933» был еще и судьбоносный «1945 год», который в немецкой исторической науке повлек за собой решительное обращение к Ранке с его успокаивающим, после всех идеологических бурь, обещанием «объективности» и «исторической истины». Только в конце 1980-х гг. происходит «открытие заново» исторической науки о культуре и на ее волне – темы истории памяти, представленной прежде всего в работах египтолога Яна Ассманна. В 2003 г. историк Нового времени Дан Динер констатировал, что в историческом сообществе окончательно произошла смена парадигм: от изучения «общества» историки обратились к изучению «памяти». В этом обращении он видел характерный признак современной науки – представление о последовательно сменяю-

щих друг друга образах «прошлого» уступило место представлению о множественности существующих одновременно «прошлых».

Можно на конкретных примерах продемонстрировать разные измерения истории как «истории памяти». Центральный момент в таких исследованиях – рефлексия историков о времени, в котором они живут и о том, как оно влияет на образы прошлого. Наряду с историками свой вклад в историю памяти вносят и литература, искусство, архитектура, кино. По моему убеждению, из всех национальных литератур XX века русская в наибольшей степени обращается к «памяти». Даже в эпоху обусловленной политически «структурной амнезии» сталинского режима «политике забвения» противостояли такие авторы, как А. Ахматова, Б. Пастернак, В. Гроссман.

Благодатное поле для «истории памяти» является и то, что в Германии называют «политикой по отношению к прошлому» или «политикой воспоминаний». Особенно интересной «история памяти» становится там, где мы нападаем на след исторической памяти, т.е. исторических ориентиров, самих актеров истории, что выражается в различных истолкованиях и оценках одних и тех же событий, дат, людей. Так, память о дне 8 мая 1945 г. для французов – «политически священный» день капитуляции фашистской Германии, а для алжирцев – день памяти о расстрелянных французскими военными участниками праздника победы в Сетифе, поднявших знамя алжирского национального движения. Этот массовый расстрел положил начало длительной и кровавой колониальной войне, но французское правительство открыто заговорило об этом только в 2007 г.

Еще одной формой «истории памяти» являются «места памяти». Возникновение этого направления исследований «времени в пространстве» обычно относят к 1984 г., когда в Париже вышло многотомное издание *Lieux de mémoire* П. Нора. В 2001 г. вышло аналогичное издание «Немецкие места памяти». Для русской культуры «основополагающей» я бы назвал поражающую воображение констелляцию, даже более того – дихотомию, «Москва и Санкт-Петербург (Петроград/Ленинград)» как двойное «место памяти». Этот дискурс дает возможность взглянуть на тему «истории памяти» через перспективу *истории науки*. Речь идет о книге Н. Анциферова «Душа Петербурга» (1922) – «книге прощания Петербурга»: автор зафиксировал этот город «в момент его исчезновения». Анциферов с его книгой репрезентирует широкое интеллектуальное течение в Петрограде, зародившееся еще в начале века, которое сделало этот город «местом памяти». Особую роль в этом сыграли «Петербургское общество краеведения» и основанный И. М. Гревсом в 1921 г. институт краеведения, занимавшийся изучением культурной топографии Петрограда и его окрестностей, теорией и методологией экскурсий. Так было положено начало русским *urban studies* и истории повседневности, по своей широте и трансдисципли-

лиарности вполне соответствующим современной кантианской «исторической науке о культуре». Как видим, «история памяти» в форме изучения «мест памяти» возникла отнюдь не в Париже 1980-х, а в Петрограде 1920-х гг., это факт, который история исторической науки обязана учитывать. Однако важно напомнить, что концепция «истории памяти» отнюдь не заменяет собой все другие формы исторического познания, но существенно дополняет их.

**3. А. Чеканцева** (Институт всеобщей истории РАН)

### **Время историка**

1. Время – важнейший «материал», с которым работает историк. Однако далеко не все историки подвергают анализу собственное восприятие времени. В конце прошлого века перемены в культуре и историческом познании актуализировали тему времени в сообществе историков. Размышления о времени и темпоральных аспектах изучаемых процессов являются важной составляющей современной исторической эпистемологии и историографии. Более того, формируется новая междисциплинарная область исследований, которую можно назвать антропологической историей времени.

2. Сегодня в контексте темы «время историков» широко применяются не только во многом переосмысленные старые понятия, такие как *время истории, время историка, хронология, хронотоп, анахронизм, диахрония, синхрония*, но и новые: *полихрония, монохрония, гетерохрония, будущее прошлое, режим историчности*. Изменение словаря является индикатором того, что в понимании темы произошли важные изменения. В чем они заключается? Каким образом историки участвуют в проблематизации старой (ньютоновской) концепции времени, которая в течение века происходит во всех сферах познания (философии, логике, эпистемологии, физике, психологии, биологии, социологии)?

3. Проблемы датировки, хронологии и периодизации обсуждаются историками часто. Много написано и сказано об образах времени в разные исторические эпохи. Поэтому главное внимание я хочу уделить осмыслению на французском материале двух «рефлексивных» аспектов темы: французский опыт концептуализации исторического времени и способы конструирования объекта «время» в конкретно-историческом исследовании.

4. Примерно с середины 1930-х гг. историки отдают себе отчет о различении календарного и исторического времени. Календарное время – это время астрономическое, однородное, формальное, непрерывное, количественное, время календарей и часов. Историческое время – это темпоральное воплощение социального. Время, конституирующее опыт (содержательное, качественное, прерывное, относительное). Оно

также неоднородно, гетерогенно, многомерно. Каждая историческая «реальность» (процесс, отношение, связь, явление) функционирует в русле только ей присущего исторического времени. У каждого из исторических феноменов свой ритм, свой тип частоты, своя периодичность. Иными словами, за представлением об одной интегральной «линейной» хронологии скрывается *полихрония* – множество содержательно различных исторических времен.

5. Броделевская концепция исторического времени несколько десятилетий вдохновляла историков, но одновременно подвергалась критике. Сегодня ясно, что особое внимание к феномену большой длительности (как и метафора этажности исторических планов) мешает пониманию процессов, посредством которых случается новое. Внимание к процессам, напротив, предполагает, что человеческие темпоральности многочисленны, что хронологическое совпадение недостаточное свидетельство подлинной одновременности, что разрывы созидательны.

6. Основатели «Анналов» Марк Блок и Люсьен Февр обратили внимание историков на необходимость осмыслить проблему соотношения прошлого и настоящего. Это позволило лучше понять роль историка как познающего субъекта и задавать источникам такие вопросы, которые современники просто не могли задать. Такой подход получил широкое распространение, и лишь совсем недавно историки его проблематизировали, осознав, что на самом деле он плохо продуман. Они предложили более основательно изучить напряжения между темпоральностями и вновь вернулись к вопросу о роли историчности.

7. Франсуа Артог первым использовал этот термин весьма специфическим образом, введя синтагму «режим историчности». Под режимами историчности французский историк понимает различные способы сочленения категорий прошлого, настоящего и будущего. От них зависит порядок (организация) времени в тот или иной культуре. Режим историчности не данность, но, прежде всего эвристический инструмент, отсылающий к веберовскому идеальному типу.

8. Актуализация связи между временем и нарративом, а также вновь обострившееся внимание к тому, как надо писать исторические тексты, побуждает историков активно осваивать новый комплекс идей, связанных с репрезентацией конкретного материала. Темпоральная организация текста исторического нарратива становится специальной профессиональной задачей современного историка. Ее реализация требует расширения кругозора и открывает новые возможности для экспериментирования с историческим материалом.

9. Время, с которым работает историк, такой же конструкт, как и все другие его объекты. По мере того как эта мысль утверждалась в историографии, появилась еще одна – не менее важная. Поскольку время всегда субъективно окрашено, то у разных историков свое понимание времени. Более того, они конструируют это свое особое время в процессе работы, учитывая характер объекта который они изучают.

*И. И. Кобылин* (Нижегородская ГМА),  
*Ф. В. Николаи* (Нижегородский ГПУ)

**Исторический опыт и опыт истории:  
Беньямин в прочтении Агамбена и Анкерсмита**

В современной исторической мысли в противовес структуралистским и лингвистическим концепциям 1960-70-х гг. активно проблематизируется взаимосвязь исторического опыта. Этой взаимосвязи были посвящены относительно недавние работы: «Детство и история: эссе о разрушении опыта» и «Оставшееся время» Дж. Агамбена, «Память, история, забвение» П. Рикера, «Песни опыта» М. Джея и, наконец, «Возвышенный исторический опыт» Ф. Анкерсмита. Последний выразил поворот к феномену опыта в наиболее радикальной форме, призвав выйти из «тюрьмы языка» ради непосредственного обретения прошлого, что потребовало ре-интерпретации предшествующей историографии, конструирования собственных предшественников, среди которых значимое место занимает Вальтер Беньямин.

Мало известный при жизни, Беньямин уже в 1960-е гг. становится ключевой фигурой западной интеллектуальной сцены. Его противоречивые тексты сопротивляются любой гомогенизации, представляя собой принципиально неинтегрируемое поле. Усилиями его бывших друзей – Т. Адорно, Х. Арндт и Г. Шолема – были созданы три основных канона интерпретации беньяминовского наследия. Адорно подчеркнуто характеризовал своего друга как марксиста. Шолем рассматривал его скорее как мистика и критика социальной философии (позиция Шолема к концу 1970-х стала более популярной благодаря его активным переводам на все европейские языки и даже японский). Арндт занимала промежуточную позицию, воспринимая Беньямина в основном как писателя. Каждый из них претендовал на окончательную интерпретацию исходя из собственных мировоззренческих позиций, игнорируя тем самым принципиальную открытость беньяминовских текстов.

Особую роль в понимании истории у Беньямина играет понятие «конstellации» – мгновенное совмещение прошлого и настоящего в шоковом опыте. Этим Беньямин противопоставляет свое «монадологическое» понимание истории классическому историзму, выстраивающему каузальные цепи внутри «гомогенного и пустого» времени. Необходимо подчеркнуть, что конstellация представляет своеобразную дугу, идущую от актуального настоящего к определенному моменту прошлого, в котором это настоящее себя узнает. При этом для того, чтобы мессианское схождение прошлого и настоящего состоялось, необходим радикальный разрыв между ними. Эти диалектически взаимосвязанные между собой «разрыв» и «обретение» становятся отправными точками

двух разнонаправленных модусов анализа, представленных именами Агамбена и Анкерсмита.

Для Агамбена ключевым становится соединение времен, где прошлое знаменует настоящее и находит в нем свой смысл и свое завершение. Это беньяминовское «короткое замыкание», по Агамбену само образует уникальную констелляцию с мессианической доктриной почти двухтысячелетней давности. Итальянский философ убедительно показал, что источником для Бенямина были не столько иудейские богословские тексты, сколько «Послания» апостола Павла с их понятием *typos*'а. Агамбен замечает, что для констелляции между Бенямином и Павлом именно сегодня наступил момент ее «прочитываемости».

Анкерсмит, напротив, делает акцент на моменте утраты, разрыва, дистанцирования от прошлого. Для него опыт предполагает, прежде всего, момент «травматической потери»: «В историческом опыте прошлое предстает перед нами в момент разъединения, меж тем как *Jetztzeit* соединяет то, что было разъединено». [Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. С. 566].

Таким образом, обе версии используют концепцию Бенямина как противовес моделям и конструкциям, опосредующим историю, но делают это по-разному. Компаративный анализ двух этих стратегий позволит по-новому взглянуть на «историю исторического опыта».

*А. И. Макаров* (Волгоградский ГУ)

#### **Понятия «историческая память» и «культурная память»: конфликт интерпретаций исторической реальности**

1. Сегодня все гуманитарии, в той или иной мере, являются историками. В то же время, историки больше не могут быть только историографами. Историзм в конце XIX – начале XX в. занял доминирующее положение в методологии гуманитарных наук, завершив собой процесс оформления классической научной парадигмы Нового времени. Однако, как это часто бывает, за триумфом последовало поражение победителей. Не успели историки-позитивисты занять места в методологическом президиуме невидимого колледжа учёных-гуманитариев, как Ф. Ницше громкогласно провозгласил девиз гуманитаристики XX века: «Мы – филологи». Карты классической парадигмы были смешаны, и началась не шуточная битва языков. Это была война языков различных научных парадигм за место метаязыка описания реальности (в т.ч. реальности прошлого). Первыми жертвами в битве за истинный код реальности пали метанарративы и концепция исторической памяти.

2. Метанарратив и историческая память – термины, описывающие одну и ту же проблему, один и тот же феномен: феномен некой всеобщей памяти и проблему возможности её формирования с помощью

знания о прошлом. Идея всеобщей памяти опирается на представление об объективном существовании «запаса знаний», или резервуара архетипических образов сознания, имеющего общечеловеческое значение. В этом хранилище знаний есть отсек и для знаний об истинном прошлом всего человечества – он помечен термином «Всеобщая история».

3. Представление о всеобщности определённого опыта и о всеобщности исторического пути для всех человеческих существ было вызвано к жизни понятием «человечество» (*L'humanité*). Этот термин был введён в широкий научный оборот философами Нового времени в качестве заменителя религиозно окрашенного термина «Род человеческий». «Человечество», в отличие от «Рода человеческого», не содержит в себе указание на концепцию Провидения и на её основной смысл – на тайну сроков конца истории и путей к нему. Мыслители Нового времени посчитали, что разгадали тайну исторического движения: к концу истории ведёт прогресс в области гуманности, разумности и удобства человеческого способа жизнеобеспечения. Однако, эта уверенность продержалась не долго. Зарево кошмаров двух мировых войн высветлило хрупкость и опасность прогрессистских схем исторического процесса. Оптимизм прогрессизма сменился предчувствиями какой-то беспрецедентной мировой катастрофы. Философы и историки послевоенных поколений, усмотрев в прогрессистском историзме XIX века причину самомистификации европейского *Ratio*, вменили ему ответственность за реализацию утопий XX века. По их мнению, яд историцизма отравил сознание европейцев токсинами европоцентризма, прогрессизма, либерального гуманизма и техницизма. «Новая» философия М. Вебера, М. Хайдеггера, Т. Адорно поставила цель сформировать такой тип исторической рефлексии, который имел бы иммунитет от глобалистского субстанциалистского историзма Нового времени.

3. Достижения структурной лингвистики и инспирированная ими философия постмодернизма заставили классический научный историзм испытать сильнейшее влияние со стороны ницшеанской линии философии языка. Столкновение классического принципа объективности реальности и неклассического принципа её «текстуальности», породило целое поле проблем в методологии исторического знания. Одной из таких проблем стала проблема соотношения исторической и других форм коллективной памяти. В наиболее острой и полемичной форме вопрос об исторической памяти был поставлен в «теории идеологии» в неомарксистской традиции и школе «локальных культур». «Теория идеологии» опирается на тезис о классовом (партикулярном) характере любого научного дискурса; этот партикуляризм может осознаваться, но чаще не осознаётся историками. Вторая теория возникла на волне неприятия европоцентризма, который утвердился в западноевропейской науке XIX–XX вв. Представители школы «локальных культур», по су-

ти, опираются на ту же неомарксистскую установку о «партийности» любого текста, только в их терминологии понятие партикулярность обозначается термином «культурная локальность». По мнению и тех, и других критиков историзма, европейская историография является определённым исторически локальным типом интерпретации прошлого. Таким образом, историческая память – не всеобщая память, а память группы (партии, класса, субкультуры, нации, социального страта).

4. В результате последовательной критики принципов классического историзма происходит постепенное сужение объёма понятия «историческая память»: она начинает трактоваться как набор знаний и способов его интерпретации, созданный профессиональными экспертами в области фиксации прошлого. Теперь всё реже выдвигаются претензии на формирование исторического сознания у масс. Массы в XX в. разочаровали даже марксистов. Но какое-то время ещё сохраняется убеждённость в том, что профессиональные историки могут вести добычу истины о прошлом (фактическое прошлое) в силу присущей их ремеслу способности абстрагироваться от т.н. «социального заказа». Термин «ремесло историка» становится идеологической опорой классической историографии. Её противники называют эту опору фетишем.

5. Возникшая в середине XX в. теория фетишизма (Ж. Бодрийяр, М. К. Мамардашвили) была результатом эволюции теорий социологического и психологического редукционизма, берущих свои истоки в философии З. Фрейда и К. Маркса. Социологическо-психологическая интерпретация памяти вошла в противоречие с классической концепцией исторической памяти, которая обнаруживает сильную зависимость от позитивистской идеи о том, что на самом деле существуют исторические источники, которые содержат знание о прошлом сами по себе. Память – это двухуровневая система: первый уровень – это индивидуальная память, а второй – надиндивидуальная. Эти учёные указывают, что многие эффекты памяти (ностальгия, коммеморация) не могут быть объяснены только процессами, протекающими в коре головного мозга отдельных людей. Определяющие ход наших мыслей образы и фреймы, автоматизмы мышления являются результатом двустороннего процесса взаимодействия кортикальных следов в коре головного мозга и неких надиндивидуальных структур памяти.

6. Понятие «надиндивидуальная память» призвано указать на то, что память индивидов формируется и функционирует только в поле социальной коммуникации. Культура является «веществом», в котором проявляется рисунок силовых линий социальности или структур надиндивидуальной памяти. Материальные, вещественные артефакты – это застывшие формы этого рисунка структур памяти. В этом смысле более точным термином будет термин «культурная память».

**Историческая наука и memory studies:  
новые вызовы и новые перспективы**

Понятие прошлого всегда было тем ключевым концептом, при помощи которого определялось предметное поле истории. Историк претендовал на роль монополиста, обладающего исключительным правом на интерпретацию прошлого. Однако на протяжении последних двух десятилетий ситуация изменилась.

1980-90-е годы ознаменовались нарастающим потоком работ, относящихся к области «исследований памяти». Она стала местом встречи социологов, историков, психологов, социальных (культурных) антропологов, литературоведов. «Мемориальный бум» привёл многих исследователей к выводу о том, что в настоящее время формируется «парадигма памяти» в социально-гуманитарных исследованиях и особая дисциплина (memory studies), нарушившая монополию истории на прошлое. Историческая наука развивается в новых условиях, встречаясь с новыми вызовами и осваивая открывающиеся перспективы.

История и память некогда были тесно взаимосвязаны. Геродот и Цицерон подчёркивали мемориальную функцию истории. Однако в XIX в. профессионализирующаяся и стремящаяся к дисциплинарной самостоятельности история старалась максимально дистанцироваться от памяти как от субъективной и избирательной формы репрезентации прошлого. Была сформулирована позитивистская концепция истории как объективной науки, которая, в отличие от памяти, рассказывает то, как «всё было на самом деле» (Л. фон Ранке).

Один из основоположников мемориальных исследований в 1920–30-х гг. М. Хальбвакс также стоял на позитивистских позициях. История должна быть объективной, беспристрастной, абсолютной картиной прошлого. Память же субъективна, избирательна, пристрастна, связана с интересами групп. История для Хальбвакса начинается там, где память заканчивается. Исходя из этой логики, мемориальные исследования предстают как угроза научной объективности истории.

Однако во второй половине XX в. историки стали всё больше заниматься изучением традиций, ментальностей, ритуалов. Произошёл подъём «устной истории», получила распространение «история снизу», основывающаяся на анализе памяти непривилегированных социальных групп. Работы Х. Уайта и М. Фуко существенно поколебали образ истории как носительницы объективной и беспристрастной истины.

Исходя из этого, определённая часть историков стала рассматривать историописание как форму культурной (социальной) памяти. Так, П. Бёрк отмечает, что историки разных мест и времён сохраняют в качестве достойных памяти разные аспекты прошлых событий и изобра-

жают их очень по-разному, в соответствии с господствующей в их группе оптикой [Burke P. History as social memory // Memory, History and the Mind / Butler T. (ed.). Oxford, 1989]. П. Хаттон в книге «История как искусство памяти» также поддерживает тезис о том, что историческая наука – официально признанная коллективная память.

Сегодня граница между историей и memory studies всё больше размывается. Их строгое разграничение может носить лишь абстрактный характер. П. Нора, разграничивая историю и память, в отличие от М. Хальбвакса, подчёркивает их взаимодействие и взаимообмен. Как отмечает Б. Шацка, «память» и «историю» следует признать веберовскими идеальными типами [Szacka B. Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa, 2006. S. 30], пространство между которыми заполнено бесчисленным количеством смешанных форм.

На место конфронтации приходит понимание необходимости плодотворного диалога. Поэтому необходимо осмыслить те перспективы, которые memory studies открывают перед исторической наукой.

Memory studies предлагают историкам новую область историко-культурологических исследований – изучение «культур воспоминания» различных обществ и их сравнительный анализ. Ян Ассман предпринял такой анализ для древних цивилизаций. Работы же Алейды Ассман посвящены формам и трансформациям культурной памяти в контексте модерна и постмодерна.

Ещё одним аспектом изучения культурной памяти является анализ функционирования «образов-воспоминаний» в последующих культурах, выявление тех культурных смыслов, которые были ими порождены в иных контекстах. Такого рода исследования Я. Ассман провёл применительно к образам Древнего Египта и Моисея в культурной памяти Запада, а О. Г. Эксле предпринял исследование использования «образов-воспоминаний» для поддержания культурной идентичности европейских обществ, переживших шок модернизации. В связи с этим возникла и новая форма историографии – «история истории» (Ж. Ле Гофф), рассматривающая трансформации, которые совершались в историческом знании с тем или иным событием или лицом.

Таким образом, возникает проект «истории памяти», которая изучает процессы моделирования прошлого в памяти социальной группы. Здесь историческая наука сталкивается и с существенными вызовами, касающимися как объекта, так и субъекта исторического познания.

«История памяти» задаётся вопросом не об истинности или ложности тех или иных воспоминаний, а о причинах создания, поддержания или изменения определённого образа. Кажется, что вопрос об истинности исторического познания практически исчезает. Однако у исторической науки никогда не было иных путей познания прошлого, кроме анализа его образов, запечатлённых в источниках как носителях культурной (социальной) памяти. Поэтому глубокий анализ механиз-

мов мемориализации и забвения в культуре можно считать движением в позитивном направлении, с точки зрения приближения историка к истине. *Memory studies* заставляют задуматься и о «социальных рамках» памяти самого историка, о социально-культурной обусловленности того, что и как он будет вспоминать из прошлого. Однако столкновение с этим вызовом также может быть плодотворным, если приведет к постановке вопроса о необходимости создания в структуре исторического знания (на границе с социологией) особой дисциплины, занимающейся анализом социальных и культурных позиций историка (рефлексивной истории, или социологии исторической науки).

Подводя итоги, можно сказать, что исторической науке не стоит бояться «троянского коня» *memory studies*. Сотрудничество и диалог обещают быть чрезвычайно плодотворными.

**В. В. Менищikov, И. Н. Горин** (Курганский ГУ)

### **Концепт «исторической памяти» в современной историографии**

В последнее время можно говорить о формировании целого направления в историографии, в центре которого феномен исторической памяти. «Мы живем в эпоху всемирного торжества памяти», – пишет П. Нора. Одной из важнейших причин он считает т. н. «ускорение истории», которое ведет к эффекту «автономизации настоящего между непредсказуемым будущим и канувшим во тьму, непрозрачным для нас прошлым... Именно разрывом исторической и временной преемственности объясняется... новая актуальность памяти – прошлое перестало быть гарантией будущего, а потому память превратилась в движущую силу, в обещание преемственности». Сегодня историческая память становится чуть ли не единственной основой утрачиваемой идентичности.

Интерес к проблематике исторической памяти отчасти вызван кризисом традиционных теоретико-методологических установок исторической науки. Это порождает потребность в осмыслении механизма получения исторического знания, генезиса, функционирования и трансформации массовых исторических представлений. Й. Рюзен указывает на исследование феномена исторической памяти как на возможность преодоления противоречия между классической исторической наукой и постмодернистскими установками. Однако в научной литературе на равных используются различные понятия: коллективная память, историческая память, социальная память, групповая память, без указания на их содержание и обозначения границ.

М. Хальбвакс, отталкиваясь от работ Э. Дюркгейма об огромном влиянии коллективных представлений на поведение индивидов и интеграцию сообщества, ввел понятие «коллективной памяти», которая проявляется в наличии воспоминаний, распределенных между членами

определенных групп. Она возникает, с одной стороны, в результате участия индивидов в одних и тех же исторических событиях, с другой – в результате того, что индивидуальная память во многом задана «коллективными рамками» и определяется теми группами, в которые входят индивиды. Хальбвакс не дает четкого определения термину коллективная память, но в его работах есть прямое указание на границы данного феномена. Коллективная память является формой идентичности относительно небольших социальных групп, основанной на причастности к определенным событиям или явлениям прошлого, и ограничена во времени жизнью одного-двух поколений. Это принципиальное, на наш взгляд, положение позволяет избежать произвольного употребления термина. Гораздо чаще обращают внимание на то, что коллективная память, по Хальбваксу, «противостоит» истории (исторической науке). Из этого следуют заявления о противоположности исторического знания и массовых исторических представлений, что предельно упрощает сложную систему опосредованной взаимосвязи данных феноменов. Скорее всего, распространение национальной истории приводит к девальвации и стиранию коллективных памятей. С другой стороны, авторы национальных версий историй – общественные элиты – сами являются носителями коллективной памяти.

На рубеже 1980-90-х гг. выходит ряд работ, усиливших интерес к проблеме коллективной и исторической памяти. За работами П. Нора и Я. Ассмана последовал бум публикаций и дискуссий по проблемам исторической памяти. В последние годы отечественные ученые также стали активно обращаться к этой теме. Наибольший интерес представляют труды Л. П. Репиной, И. М. Савельевой, А. В. Полетаева, И. И. Глебовой и ряда других авторов. Однако приходится констатировать отсутствие общего концептуального аппарата в этой области. До сих пор четко не определено соотношение и сущность понятий исторической, социальной и культурной памяти. Частое некорректное использование данных категорий вызывает справедливую критику.

В практическом плане можно выделить два направления исследований исторической памяти. Первое – изучение воспоминаний очевидцев и современников исторических событий и периодов, и трансформации воспоминаний в ходе социальной коммуникации, анализ групповой памяти. Второе – изучение исторической памяти как культурного механизма накопления и трансляции информации (знаний, представлений, образов) о прошлом общества. В рамках первого направления, восходящего к работам Хальбвакса, анализируются воспоминания о второй мировой войне, Холокосте, массовых репрессиях и др. трагических событиях XX века, а также различные аспекты коллективной памяти. Второе направление восходит к работам П. Нора, Я. Ассмана и сосредоточено на изучении представлений о прошлом в разные исторические периоды и в настоящее время, обыденного знания об истории, а также

«истории памяти» больших социальных общностей, анализе роли исторических представлений в культуре социума. Если первое направление в большей степени сопряжено с социальной психологией, устной историей, то второе – с культурной антропологией и социологией. Несомненно, эти два подхода связаны и во многом дополняют друг друга, но в целом они ориентированы на разные уровни анализа.

Нам кажется, что зачастую путаница возникает вследствие смешения двух подходов. Это происходит, когда пытаются совместить взгляды авторов, пользующихся одним термином, но применительно к разным феноменам. Поэтому в рамках первого подхода было бы логичней использовать термин «коллективная память» и «коллективные воспоминания», а в рамках второго – «историческая память». Подобное разграничение, пусть и не в явном виде, можно найти в работах И. Рюзена. Он пишет: «Следует подчеркнуть, что не всякая память сама по себе является исторической. Только, если память выходит за пределы жизненного пространства личности или группы, к которым она относится, можно говорить об особой "исторической" памяти. "Историческая" обозначает определенный элемент временной дистанции между прошлым и настоящим, которая делает сложное опосредование обоих необходимым». Для истории разрыв между прошлым и настоящим является фундаментальным (А. Мегилл). В известном смысле, этот разрыв является качественно образующим для истории и исторического сознания, составной частью которого является историческая память.

*И. С. Меницков* (Курганский ГУ)

#### **Историческая наука, историческое сознание и историческая идентичность**

Рассматривая соотношение этнической идентичности и исторического сознания, следует определиться с понятиями. Идентичность понимается как осознание принадлежности субъекта другому субъекту как части и целого, а главным признаком и основанием является тождественность самому себе. Исходя из этого, этническую идентичность можно понимать как осознание человеком своей принадлежности к какой-либо национальной группе, процесс перенесения индивидом на себя качеств и особенностей своего этнического окружения. Эта идентичность приобретает не посредством личных усилий, а по рождению и воспитанию. У каждого народа имеются определенные представления о своём прошлом, которые укрепляют связи между его членами. Зачастую эти представления существуют в форме героических мифов или эпоса. Действие в них происходит в неопределённом прошлом, персонажи нередко наделяются сверхъестественными способностями, пред-

ставления о добре и зле персонифицированы (герой и антигерой). Долгое время историческое сознание бытовало именно в такой форме. Появление письменной истории мало что изменило, поскольку первые историки фиксировали такие мифы и воспринимали их как нечто вполне достоверное (Геродот или Нестор-летописец).

Усиление национальной консолидации приводит к изменениям исторического сознания народа. Начало XIX века ознаменовалось двумя важными явлениями. Во-первых, под влиянием Французской революции возникло учение о национальном государстве, согласно которому, все представители данной нации должны проживать на территории её национального государства: Франция должна охватывать ареал проживания всех французов, Германия – немцев и т. д. Во-вторых, завершилось конституирование истории как науки со своим предметом и способами получения знаний. Историки отказались от того, что быть только учителями нравственности и политики, и заявили, что посредством изучения исторического источника можно понять и реконструировать, хотя бы отчасти, историческое прошлое. Историческая наука оказалась втянутой в процесс развития национального сознания. К началу XX века за историей закрепились функции коллективной памяти и патриотического воспитания. Во многих странах появилась официальная историография. Уроки истории стали обязательными, даже в начальной сельской школе давались элементарные знания по истории. Дальше всего этот процесс зашёл во Франции, хотя Германия или Италия не намного отставали от неё. Исторические знания закреплялись в памяти народа уже не как мифологические, а как имеющие под собой научную почву. Конечно, эти знания не были полными, они напоминают пропедевтический курс по истории России для младших классов – эпизоды прошлого: Киевская Русь, Батыево нашествие, объединение земель вокруг Москвы, петровские реформы и т. д. Однако это уже не миф, а если миф, то вполне научный, сконструированный по определенным правилам и с определенными целями, прежде всего – идеологическими. Парадоксальным образом история XIX века, считавшая себя свободной от нравственности и политики, выполняла вполне политическую функцию: во Франции, как, впрочем, и в Германии или в России, она была плавильным тиглем национального самосознания. Эта особенность обуславливала выбор в качестве проблемы истории нации или народа.

Должна ли историческая наука влиять на национальную идентичность? Пожалуй, ответ должен быть положительным. А. Мегилл отмечает, что историческое сознание и историческая память народа имеют функции производства, сохранения и передачи исторической и иной информации, формирования личной и групповой идентичности. Он подчеркивает, что без идентичностей (специфических конфигураций

человеческого существования) не может существовать никакое историческое описание. Слово «идентичность» претерпело смысловую инверсию – оно стало категорией группы. Идентичность, как и память, стала долгом. Именно здесь, на уровне обязательств, возникает связь между памятью и идентичностью. Эффект новой организации памяти состоит в том, что у историка отбирается его традиционная монополия на интерпретацию прошлого. В мире, где существовали коллективная история и индивидуальная память, именно историк имел право исключительного контроля над прошлым. Только он умел устанавливать факты, обращаться с доказательствами, наделять истинностью. Сегодня историк далеко не одинок в порождении прошлого. Он делит эту роль со средствами массовой информации и другими субъектами.

Историческая наука и историческая память (как составляющая исторического сознания) противостоят друг другу. Функции коллективной и индивидуальной памяти аналогичны – сохранять полезную или эмоционально окрашенную информацию. Функция науки – нахождение истинного знания. Однако история – не совсем обычная наука. С утилитарной точки зрения она совершенно бесполезна. Её существование, таким образом, оправдывается тем, что существует более или менее ярко выраженный интерес общества к своему прошлому. Кроме того, историческая наука имеет ряд иных социальных функций: познавательную, социальной памяти и политико-идеологическую. Память оправдывает себя в собственных глазах своей морально-политической правдивостью и черпает силу в тех чувствах, которые она пробуждает. История же требует доводов и доказательств. Рассуждая об этом, А. Про резюмирует: «История не должна идти в услужение к памяти; она должна, конечно, считаться со спросом на память, но лишь для того, чтобы превратить этот спрос в историю. Если мы хотим быть ответственными участниками нашего собственного будущего, то наш первый долг – это долг истории».

Не окажется ли наше общество, историческое сознание и историческая наука в ситуации к которой привлек внимание Ф. Арто, анализируя поэму «Одиссея». Ее герой, вернувшись неузнанным домой, слушает песнь слепого певца о своих собственных подвигах. И Одиссей готов поверить, что тот на самом деле *видел*, то о чем поёт, даже зная наверняка, что это совершенно не то, что с ним было на самом деле. Более того, об Одиссее рассказывается так, словно его нет среди живых. И он едва ли не первый раз за всю поэму плачет... Не грозит ли нам эта участь – предпочесть правду вымысла правде реальной?

### **Историческое сознание: память – забвение**

Тайна исторического сознания, а более точно – его истинность – скрыта в механизме и диалектике памяти и забвении. Историческое сознание базируется на том, какое знание остается в памяти людей. Память не долговечна, она подвержена забвению. Но и из забвения знание вновь может возвращаться в ясность памяти и исторического понимания. События настоящего времени активизируют этот процесс. И не случайно буквально в последние годы резко обострилось внимание историков, философов и общественности к этим, казалось бы, чисто психологическим понятиям. Правда, чисто психологических понятий не существует, хотя бы потому, что в этом случае они являются как бы формальными, бессодержательными. В этом своем значении они выполняют роль идеальных конструктов, абстрактных образований, схем познавательной деятельности. Но понятия «память» – «забвение» наполняются конкретным историко-социальным содержанием. И в этом случае они перестают быть чистыми и принадлежат уже не только к историческому сознанию, но и к конкретной социальной реальности, к общественно-индивидуальной жизни людей.

Страшные события XX века жестоко обошлись с человеческой памятью и историей: с одной стороны, они способствовали тому, чтобы постараться вычеркнуть их из памяти, а с другой – люди никак не хотели и не могли забыть, если бы даже сильно этого захотели, трагические страницы своей истории. Но неспособность к забвению может играть различную роль. В одних случаях это ведет к злопамятству, стремлению отомстить за изуродованное прошлое, восстановить нарушенную справедливость. В других – неспособность к забвению, тревожащая память направлены на понимание тех ошибок и преступлений, которые были совершены тем или иным народом. Это путь понимания, путь истолкования и, в конце концов, путь раскаяния, путь искупления. В первом случае культура интерпретации, культура толерантности и сила прощения может изменить злопамятство. Во втором – культура интерпретации и осознания, способность раскаяния, наконец, культура искупления – корректируют неспособность к забвению, делают эту память не драматически-трагической, а понимающе-спокойной.

Очистить историю и историческое сознание можно с помощью интерпретации конфликта и согласования интерпретаций. И в этом случае можно найти нечто устойчивое, определенное, срединное и, возможно, более истинное в историческом знании и сознании. Без этого не может быть успокоения, без этого не может существовать настоящая

и будущая жизнь общества. Очевидно, что историческое сознание, историческая память сопряжены с тем, что они не мыслимы без способности не только к забвению, но и к прощению. Если этого нет (прощения) – историческое сознание сохраняет некоторую болезненность, ущербность, неуспокоенность, что мешает нормальной устроенности жизни. Раскаяние, как и прощение, способствует восстановлению исторической справедливости, восстановлению уравновешенности памяти, сбалансированности исторического сознания. И прав П. Рикёр, что именно прощение и раскаяние свидетельствует о торжестве добра и в общественной жизни, и в историческом сознании. Здесь происходит сложное переплетение объективности и справедливости в оценке истории и в формировании исторического сознания.

Следовательно, память и забвение являются атрибутами общественной жизни. Память общества, как и память отдельного человека, недолговечна. Она всегда чревата забвением, которое есть как бы утрата жизни прошлой. Историческое сознание в полной мере может быть сформировано тогда, когда мы овладеваем искусством забвения исторической жизни и ее припоминанием. Очевидно, в этом состоит тайна и мудрость исторического сознания. Мы забываем меньше, чем нам кажется или чем мы опасаемся забыть, к истории как и к исторической памяти нужно подходить без потворства и мстительности (П. Рикёр).

Именно в этих пределах бытийствует нравственная составляющая исторического сознания. Неизбежно в этом случае возникает проблема справедливости в оценке исторических событий в памяти тех или иных народов. Но здесь не обойтись без установления истинности исторических событий, которые должны рассматриваться с точки зрения различных субъектов исторических действий: и тех, кто одержал победу, и тех, кто потерпел поражение. Естественно, их подход к справедливости будет различным, разное будет удерживаться и в памяти, и в том, что уйдет в забвение. Очевидно, что забвение ведет к старению, уничтожению и, в конце концов, к смерти, а память противостоит старению, препятствует уничтожению и исчезновению, и тем самым память противостоит смерти и способствует торжеству человеческой жизни.

Обостряют историческую память критические, пограничные ситуации: периоды общественных болезней и бытия на краю жизни. Так случается с памятью отдельного человека, то же происходит с памятью целых народов. Если признать, что возрасты (временные пределы) различных народов существенно различаются, следовательно, формируются и различные объемы, состояния и особенности памяти. История народов имеет разную длительность: одни возникли раньше, а другие – существенно позже. Поэтому память у одних народов короче, а у других – простирается на больший исторический временной период. Различен и исторический опыт этих народов. Более молодые из них склон-

ны (как и молодые люди) больше жить сегодняшним днем, народы солидного возраста – больше обращаются к прошлому, к истории.

Итак, именно в русле памяти и забвения формируется историческое сознание, но не как нечто застывшее, неизменное, раз и навсегда данное, а как изменяющееся, уточняющееся, обретающее истинность и справедливость в истолковании и понимании исторических событий. Именно в русле взаимопереходов памяти и забвения мы ощущаем движение и длительность человеческой жизни.

*И. В. Нарский* (Южно-Уральский ГУ, Челябинск)

**Фотография, (авто)биография и память:  
семейный альбом как приглашение  
к дисциплинированному переходу дисциплинарных границ**

В социологическом исследовании роли частных фотографий в ретроспективном придании индивидом смысла жизни Ш. Гушкер особое внимание придал необходимости «дисциплинированного перехода границ дисциплины» [Guschker S. Bilderwelt und Lebenswirklichkeit: eine soziologisch Studie über die Rolle privater Fotos für die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens. Frankfurt/M. u.a., 2002. S. 16]. Действительно, совокупное послание приватного фотоальбома – хронологически выстроенный (авто)биографический рассказ о крепкой семье, счастливом прошлом и успешной жизни. Семейный альбом – место встречи трех взаимосвязанных феноменов: во-первых, биологической способности и социальной потребности человека вспоминать; во-вторых, автобиографического конструирования собственного «Я» через линейное связывание прошлого, настоящего и будущего; наконец, в-третьих, фотографической практики как инструмента удержания «прекрасного мгновения» для рассказа об удавшейся жизни.

В последние десятилетия намечился и уже принес впечатляющие плоды поворот гуманитарных дисциплин, в том числе истории, к изучению «субъективной», воспринимаемой историческими актерами реальности. Этот сдвиг в исследовательских интересах и стратегиях воплотился, помимо прочего, в ренессансе таких направлений, как визуальная история, историографическая биография и история памяти и опыта. Наиболее активными и последовательными поборниками использования изображенных или вербальных образов как исторического источника стали антропологически ориентированные историки, изучающие повседневность, опыт, вкусы, менталитет — словом, те, что сместили исследовательские приоритеты с событий на состояния, с очевидных изменений на мало заметное и медленно изменяющееся.

Взаимосвязь припоминания и автобиографии очевидна. Формирование личности может быть описано как поступательная «достройка»

экспериментальной, семантической и эпизодической памяти ребенка памятью автобиографической. Автобиографическое воспоминание, таким образом, представляется наиболее сложной формой памяти.

Культурная близость (авто)биографии и фотографии также не нуждается в развернутой аргументации. Оба медиума отмечены «общим парадоксальным отношением к действительности и вымыслу» [Blazewski S. Bild und Text – Photographie in autobiographischer Literatur. Margueri Duras’ “L’Amant” und Michael Ondaatjes “Running in the Family”. Saarbrücken, 2002. S. 103]. Правдивость фотоснимка и автобиографии столь же иллюзорны, как и использование ими «достоверности» своего инструментария для обслуживания возросшей потребности современного человека построить и защитить свое «Я», найти и стабилизировать свое место в постоянно меняющемся мире.

Как, однако, связана с автобиографической памятью память фотографическая? На первый взгляд, этот вопрос кажется излишним. Фотографирование как средство сохранить прошлое служит главным аргументом в рекламе фототехники. В этой же плоскости будет лежать ответ любого фотографа на вопрос о смысле занятия фотоделом.

Между тем, связь между фотографией и памятью отнюдь не столь очевидна. Многие теоретики фотографии, прежде всего В. Беньямин, Э. Кракауэр и Р. Барт исходили из тезиса о несовместимости фотографии и памяти, о губительности фотоснимков для припоминания. Сама природа памяти и фотографии рассматривается ими как принципиально различная, что и обуславливает их взаимное отталкивание или взаимную подмену. Сторонники структурализма поныне отстаивают этот тезис, непродуктивный, на мой взгляд, для визуальной историографии.

Между тем, сегодня, благодаря достижениям нейропсихологии мозга, социологии и других наук о человеке, проще положительно ответить на вопрос о влиянии фотоизображения на процессы припоминания, чем в 1930-е или 1960-е гг. В структурах памяти ученые выделяют различные уровни. Самый низший из них «содержит знание об отдельных событиях, отдельных эпизодах (от секунд до часов). Эта плоскость включает мгновенные впечатления, переживания и события» (Guscher S. Bilderwelt und Lebenswirklichkeit. S. 272). Для припоминания, для «пробуждения» памяти наиболее важен уровень отдельных событий, «моментальных снимков», в то время как более высокие структуры позволяют не «освежить» воспоминания, а связать их в определенную последовательность. Воздействие фотографии на работу памяти, вероятно, сродни действию звуков или запахов, которые вызывают каскад воспоминаний, поднимающихся от нижнего уровня к верхним.

Фотографии могут не только провоцировать припоминание, но и направлять процессы памяти. Фотоизображения вызывают ассоциации, поскольку позволяют – прежде всего, участнику когда-то запечатленной фотографической ситуации – «увидеть», вспомнить события, пред-

меты, детали, не изображенные на фотографии, могут вызывать спонтанные, неожиданно яркие и подробные припоминания. Дискретность фотографических собраний, например, в фотоальбоме, побуждает их обладателей и зрителей заполнять пробелы, указывающие на скрытые смыслы и тем самым наделяющие фото дополнительным значением.

Поскольку фотографии обычно фиксируют особые случаи и состояния, «приподнимающие» над буднями, они способны регулировать процессы не только припоминания, но и забывания: «Смысл забывания состоит в том, чтобы вычеркнуть обыденно повторяющиеся вещи, а также произвести отсеивание событий, которые угрожают стабильности «я». Фотоснимок одновременно является актом стирания. Сохранение и стирание объединяются в одном жесте» [Ibid. S. 280].

Итак, исследователи видят большие перспективы, открывающиеся перед исторической антропологией и историей культуры в случае комбинированного использования фотоизображений и эго-документов как исторических источников. Анализ личных визуальных и вербальных свидетельств может помочь решить ключевую задачу этих подходов современной историографии — взглянуть на человека «изнутри», понять «невидимые предпосылки видимого поведения» [Nippertey T. *Kulturgeschichte, Sozialgeschichte, Historische Anthropologie* / Schieder W., Graeubig K. (Hg.) *Theorieprobleme der Geschichtswissenschaft*. Darmstadt, 1977. S. 287], расшифровать неосознанные ценности, интерпретационные и поведенческие образцы исторических актеров.

**В. П. Буданова** (Институт всеобщей истории РАН)

#### **«Величие и нищета» готской идентичности\***

На поле «борьбы за прошлое» восточногерманскому племени готов отводится едва ли не основополагающая, доминирующая роль. К концу XX в. непримиримое противостояние поющих осанну готам и низвергающих их с пьедестала истории зашло в тупик. В очередной раз продекларированы «объективное прочтение источников» и отказ от «идеологически нагруженной их интерпретации». Большинство вопросов накопившихся столетиями исследований истории готов осталось нерешенным, что по-прежнему привлекает внимание к готской проблеме, и в т. ч. к особенностям формирования т. н. «готского мифа».

Представляется важным различать готов как племя-лидер великих миграций, как символ-маркер когнитивной карты варварского мира II–VII вв., и как одно из германских племен, ставшее в ходе Великого переселения народов и последующие века особой идеологемой (в т. ч. националистических экспансий).

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-01-00453а.

Быстрое и радикальное оформление этнической идентичности готов произошло во II–IV вв. в период становления «больших племен», определяясь формулой – готом быть или готом слыть (этническая и этноориентированная корпоративность). Изначально собирательный образ «особливости» готов создавался как греко-римской интеллектуальной элитой, так и выходцем из Барбарикума, автором готского варианта всемирной истории, родоначальником «готской идеи» Иорданом.

Письменная традиция сохранила представление о «ситуативной готскости» и готском этноцентризме (авторитет, солидарность, пафос постоянной угрозы). Взаимодействие варваров-готов с греко-римской цивилизацией порождало особый провокационный тип интерференции, которая способствовала консолидации внутrigотского этнического пространства с одновременной аккультурацией готского мира, попыткой преодоления разрыва между римлянами, которые оставались *cives et domini* и готами, осознававшими себя *advene et peregrini* или консилированными римлянами.

Эпоха Великого переселения народов выработала стереотипы готского превосходства и готской приниженности, но в большинстве случаев они позиционировались как *incolume* и *victores* варварского мира. Определились каналы формирования готицизма, в их числе нарастающая активность индивида (личные амбиции вождей и конунгов) и обостренное отношение к традиции («изобретенная традиция»). Сложилось общее мифологизированное представление о «готскости».

Величие готов детерминировалось наследием, а устойчивый культ их исключительности основывался на архетипе предковости и особой харизматичной миссии племён. Из обилия образов, имен и деяний экономная устная память готов сохранила то, что подпитывало проект исторических претензий, их желанного будущего.

Формирование готской идентичности выстраивалось на оси «восходящих» процессов, которые включали победы, завоевания, дипломатические успехи, романизацию, *conversio* отдельных лидеров. Вектор сплочения готских племен, их этническая консолидация определялись и «нисходящими» изменениями. В их числе поражения, гибель народов, правителей, потери, бедствия, моральный разлад, дезориентация.

Готы последовательно транслировали изменчивость, неустойчивость и подвижность *Barbaricum solum*. Они наполнили новым смыслом само понимание *движения*, как изменения, как проявления стихийной и неистребимой жизненной энергии. Выражая вектор восходящей качественной преобразовательности, имя готов притягивало племена к своим победам (*suis applicavere victoriis*). Этот ценностный идентитет выражал осознанную или неосознанную интенцию на принадлежность к готской общности. В ходе миграций II–VII вв. утвердилась актуально освоенная варварским миром формула – *Gothi superiores inventi sunt* (готы имели

преимущества). Присоединяясь к готским победам и достижениям, племена утверждали тем самым величие готов.

Миграции готских племен между «началом» (I в. н.э.) и «концом» (VIII в.) готской истории обозначили модус *времени* Великого переселения народов с его непредсказуемостью и ненадежностью. Готы отражали мобилизационное время, жизненный форс-мажор великих миграций. Отрезки их истории неравномерны и неравноценны, отделены качественными переломами, восхождениями и падениями, многочисленными сбоями, способствующими хаотизации. Наряду с этим готы обостряли чувство текущего времени, влияли на его качество, порождая бесперспективность, депрессивность, страх, отчаяние, смутное предчувствие безвременья, подтверждая различие в скорости времени в центре цивилизации и на ее периферии.

Основные этапы готских миграций в Восточных Карпатах, Приазовье, Подунавье, а также на просторах Италии, Испании и Южной Франции разрушили римскую концепцию границ цивилизованного мира. Готский миграционный пояс скрепил Рим и Барбарикум от Скандинавии до Малой Азии, от Иберийского полуострова до Кавказа в единое *пространство* Великого переселения народов, которое отличалось неоднородностью, непрерывностью и безграничностью. Мифопоэтическая традиция готов об Ойуме выразила многозначность, бесконечность и сказочность пространства через коллективный опыт переселений племен, познавших фактическую экстерриториальность.

На третьем этапе Великого переселения завершилось оформление «готского мифа»: высшей ценностью и ориентиром выступало Племя (*gens*), которому предназначено вечное странствие в поисках Ойума и господство над другими народами, быть *primas mundi gentes*; народ (*populus*) готов, проходя через тяжелые испытания и потери, приобрел человечность и просвещенность (*humaniores et prudentiores*); предводители и вожди готов отмечены доблестью и благородством происхождения (*virtutis et generis nobilitate*), им предназначено преумножать славу предков во имя готского величия.

Будучи федератами *Pax Romana*, готы постепенно вытесняли «римский миф» «готским мифом», при этом осознавая престиж цивилизации, которой противостояли две сотни лет. Следуя нерушимой верности матрице Римской цивилизации, они создали радикально консервативное государство как подражание римскому, и уже потому обреченное. Миграционная активность, мобильность и системная «включенность в Рим» из компонентов, способствующих этнополитической консолидации готов, после расселения в Империи превратились в факторы нестабильности и цивилизационной бесперспективности т.н. «варварских королевств».

**XVIII столетие как «место памяти» русских интеллектуалов  
первой половины XIX века**

Проблема присвоения прошлого, создания его образов в контексте формирования национальной и культурной идентичности, может рассматриваться в рамках истории исторического сознания, истории темпоральных представлений. В первой половине XIX в. именно XVIII век стал воплощением русского прошлого, соединяющего европейское и национальное, началом новой истории России как европейской державы. Восприятие XVIII века как времени «начала» складывалось в результате воздействия государственной идеологии еще с Петра I.

Именно в отношении к XVIII в. часто проявляется осознание линейного и необратимого хода времени, формируется представление о смене поколений. П. А. Вяземский, которого П. Я. Чаадаев называл «русским отпечатком XVIII столетия», в своих записных книжках неоднократно обращается к теме ушедшего века и уходящего поколения, которое видится ему замечательным и оригинальным. Во многих его заметках ощущается своеобразное ностальгическое настроение, составляющее элемент исторической памяти. Но образ XVIII века в сознании русской интеллигенции был не только идиллическим, начиналось и критическое осмысление этого периода. Уверенность в прогрессивном развитии человечества давала основание представить век XIX превосходящим век XVIII, разрушить идеализированный образ, утвердившийся в сознании благодаря господству просветительских идей и мифологизации Петра, и, например, Кюхельбекеру – надеяться, что «мы перестанем жалеть, как некогда жалели некоторые в Европе о золотом греческом периоде, – перестанем жалеть о веках семнадцатом и осьмнадцатом» [Кюхельбекер В. Изящная проза. Европейские письма // Невский зритель. СПб., 1820. Февраль. С. 45].

Отражением историзации сознания, становления представлений о постепенности исторического развития являлось изменение взгляда на реформы Петра I, начавшийся переход к критическому осмыслению этой фигуры в истории России, отказ от радикальных, внеисторических оценок первой четверти XVIII в. Образы этой эпохи, созданные в XVIII в., фактически сводились к одному – «мгновенному, чудесному и полному преображению России под властью императора Петра... Образ «новой России» и «нового народа» сделался своеобразным мифом, который возник уже в начале XVIII столетия и был завещан последующему культурному сознанию» [Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 106].

Яркий пример соответствующего интеллигентского дискурса содержат «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина, сочине-

ние Н. А. Бестужева «Записки о Голландии 1815года», в котором фиксируется «чувство благоговения», связь деяний Петра с вечностью, а он сам называется «Великий Преобразователь Отечества», «великий герой» [Бестужев Н. А. Избранная проза. М., 1983. С. 80-81]. Показательно, что В. Г. Белинский, в очередной раз утверждая роль личности царя-преобразователя («Петр Великий есть величайшее явление не нашей только истории, но и истории всего человечества; он божество, воззвавшее нас к жизни, вдунувшее душу живую в колоссальное, но поверженное в смертную дремоту тело древней России» (Собр. соч.: В 9 т. М., 1979. Т. 4. С. 9.)), упрекал современников в неразработанности вопросов истории XVIII века и сосредоточении внимания на древнем периоде русской истории, который не представляет такого интереса, т.к. русская история начинается, по его мнению, с эпохи Петра.

Преодоление мифологизированного образа Петра и его эпохи в сознании русских интеллектуалов связано с развитием отечественной историографии, знакомством с трудами европейских историков, распространением исторических знаний. А. И. Тургенев очень много сделал для открытия XVIII века русскому обществу, так как в течение нескольких лет работал в архивах и библиотеках Парижа, Лондона, Ватикана, отыскивая и копируя источники по русской истории этого столетия. В сложившемся у него образе XVIII века сочетаются эмпирические представления, связанные с детскими воспоминаниями, культурные стереотипы и новые «профессиональные» представления как результат работы с историческими источниками.

Все эти компоненты образа выявляются через сравнение дневниковых записей, писем А. И. Тургенева (предназначавшихся для печати и частного характера) и его исторических сочинений. Прежде всего, он выделяет две «блестящие» эпохи XVIII века – Петра I и Екатерины II, что воплощает сложившуюся традицию связывать эти два имени в русской истории. Причем, для Тургенева эти эпохи принадлежат истории, т.е. прошедшему времени, но истории новейшей (эти же эпохи отмечаются как значимые и в воспоминаниях Б. Н. Чичерина). Эпоха Петра традиционно воспринималась Тургеневым как время начала европейской истории России, «когда Россия грозно и величественно вошла в систему держав европейских и стала наряду с первейшими» [Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825–1826 гг.) М.-Л., 1964. С. 104]. Однако после тщательного знакомства с донесениями европейских дипломатов Тургенев обращает внимание на длительность и сложность процесса европеизации России, связывая его также с царствованием Елизаветы, когда «Россия впервые по-настоящему и бесповоротно вошла в число великих держав. До того времени эта еще совсем недавно варварская империя, даже не понимавшая, на что употребить свои огромные силы, оставалась как бы вне цивилизованного мира» [Тургенев А. И. Российский двор в XVIII веке. СПб., 2005. С. 133]. В то же время в характеристике эпохи Екатерины II Тургенев часто обраща-

ет внимание на сохранение «азиатских» черт в жизни русского общества, считая ее царствование не более чем комедией, разыгрываемой для Европы и развлечения подданных. Положительно окрашены в записках Тургенева только события русско-турецкой войны, имена Репнина, Румянцева, Суворова, выступая в качестве знаковых для той эпохи и русской истории, «из какого-то мрака сияют для меня имена сии, переживая даже век Наполеона и Канинга» [Тургенев А. И. Дневники апрель-май 1834 г. // ОР РНБ. Ф. 326. № 59. Л. 10].

В восприятии XVIII века соединяются мифологические и исторические компоненты, а сам XVIII век выступает для русских интеллектуалов первой половины XIX в. одним из значимых «мест памяти».

*А. А. Синенко* (Омский ГПУ)

#### **К постановке проблемы моделирования темпоральных представлений историков конца XIX – начала XX вв.**

В настоящее время в научном сообществе формируются исследовательские направления, которые создают новые проблемные поля в междисциплинарном контексте. Примером может служить проблема темпоральности, которая активно обсуждается в рамках интеллектуальной истории. Темпоральность – это система представлений о «едином» времени и об отдельных категориях: прошлом, настоящем и будущем. В рамках темпоральности как самостоятельной системы можно выделить несколько уровней представлений о времени, например, эмпирические, семейные, сакральные и исторические [Савельева И. М., Полятаев А. В. История и время. М., 1997]. Сочинения историков задают одну из моделей, с помощью которых общество познает свое прошлое, поэтому изучение их темпоральных представлений дает возможность раскрыть одну из граней темпорального сознания общества в определенный период истории.

Темпоральные представления историка рубежа XIX–XX вв. представляют собой комплекс разных образов времени. Эмпирический уровень складывается на основе индивидуального «ощущения» времени, основанного на личном опыте историка. Возможно, эмпирический уровень является самым «эмоциональным» элементом темпоральных представлений историка, т. к. одним из инструментов, формирующих этот уровень, являются личные воспоминания. Особенностью памяти является ее «выборочность», акцентированность на эмоционально яркие моменты прошлого. Эмпирическому уровню темпоральных представлений могут быть присущи элементы космологического сознания, проявляющиеся в сакрализации некоторых объектов, как личного прошлого, так и родового прошлого, переданного в форме преданий и легенд. Уровень эмпирических представлений оказывает влияние на формирование всей системы темпоральных представлений.

Вторым уровнем темпоральных представлений являются представления о времени, транслируемые научным сообществом, в котором находится историк. На формирование темпоральных представлений самой историографической среды рубежа XIX–XX вв. оказывал влияние целый ряд факторов. Во-первых, это доминирующее влияние позитивизма, выразившееся в соответствующем определении прошлого, настоящего и будущего, выделении причинно-следственных связей в истории и создании уникальной хронологии, как отечественной истории, так и всеобщей. Во-вторых, сформированная историографическая традиция, определяющая некоторые образы прошлого и настоящего, например, образы «своего» и «чужого» прошлого в отечественной истории. Важным остается влияние и специфика отдельных исторических школ, каждая из которых формирует свои характерные образы времени. Третьим фактором, формирующим темпоральные представления научного сообщества, являются общественные настроения, в рамках которых возникают элементы космологического сознания, выражающиеся в новой волне интереса российского общества того времени к религии.

Эмпирические представления и образы времени, созданные историографической средой, оказывают влияние на формирование собственных уникальных темпоральных представлений историка-ученого. Новый уровень профессиональных темпоральных представлений историка находит отражение в создании собственной хронологии истории, формировании индивидуальных представлений об основных темпоральных категориях. Важным является коннотация уже существующих темпоральных понятий, например «эпоха», «век», «столетие».

Созданную модель можно использовать при рассмотрении темпоральных представлений русских историков конца XIX – начала XX в. Особенностью этого периода является ситуация рубежа веков и характерная социокультурная атмосфера российского общества, сложившаяся после реформ середины XIX века.

*К. И. Шнейдер* (Пермский ГУ)

### **Ранний русский либерализм как воображаемая реальность**

Исторической памяти во все времена было свойственно трансформировать события прошлого. Это в равной степени можно отнести и к массовому сознанию, и к академическим текстам специалистов, которые часто являются творцами и трансляторами исторических мифов. Поэтому ссылки на принцип объективности, все еще встречающиеся в монографиях и диссертациях, свидетельствуют либо о силе инерционного мышления, либо о профессиональном догматизме автора. Версионный способ постижения истории давно уже признан одним из ведущих, а сами версии различаются между собой, в том числе, мерой и степенью присвоения «исторического капитала». Все это актуализирует проблему пределов достоверности исторической информации.

История русского либерализма XVIII–XIX вв. наполнена мифотворчеством ее многочисленных исследователей. Изучение русской либеральной традиции в отечественной и западной историографии получило новый импульс в 1990-е гг., когда появились интересные версии генезиса либерализма в России, его соответствия классическим европейским образцам и национального своеобразия. С наибольшей силой воображение специалистов проявилось в рассуждениях о происхождении российского либерализма, в которых очень непросто определить границы между научным моделированием и откровенным мифотворчеством. Это, в первую очередь, относится к отечественным экспертам. В частности, одни исследователи уверены, что история либерализма в России начинается с эпохи Екатерины Великой, другие переносят дату рождения в первую четверть XIX в., третьи пытаются отождествить умеренных западников 1840-х гг. с первыми русскими либералами.

Вместе с тем, екатерининский период следует относить лишь к времени формирования благоприятных условий для появления первых ростков либеральной мысли в России. Особое внимание в этой связи заслуживает концепция «просвещенного абсолютизма». Совершенно очевидно, что данная конструкция стала результатом перцепции идейно-политического опыта европейских стран. Верховная власть впервые оказалась максимально открытой для восприятия накопленного европейского наследия. Итог – содержательные реформы, ограничившие самодержавный режим, и распространение либерально ориентированных идей в просвещенной части российского общества. Однако все описываемые процессы послужили стимулом к возникновению не более чем среды обитания будущего русского либерализма.

В эпоху Александра I «просвещенный абсолютизм» превратился в определенный стандарт государственной политики и панацею от всех превратностей российской действительности. Появилось много проектов преобразования аппарата управления России, института крепостничества, экономической системы. Постепенно либеральные идеи превратились из модного увлечения екатерининских времен в эффективное средство реформаторской политики. Однако даже в самых просвещенных кругах русского дворянства либеральные идеи оставались исключительно «чужеродным» и «неадаптивным» к российским условиям инструментом воздействия на отечественную историческую традицию. Другими словами, попытки либерализовать существующий режим приводили либо к появлению фантастических проектов прямого заимствования европейского опыта модернизации (декабристы), либо, чаще всего, к стремлению совместить либеральные ценности и государственный патернализм, инновацию и традицию (сторонники реформ в

придворном окружении). Поэтому и говорить о русском либерализме в период царствования Александра I явно преждевременно.

Поражение декабристов и ужесточение политического режима в николаевскую эпоху создали благоприятные условия для поиска национальной идентичности в быстро меняющемся мире. История отечественного либерализма обогатилась именами П. Я. Чаадаева и западников, которые отдали «просвещенный абсолютизм» на «откуп» правительственной бюрократии и «окунулись» в многообразии классической либеральной мысли. Результатом этой работы можно считать формирование либерального направления в русской общественной мысли, что предполагало наличие адекватной среды и видных мыслителей в лице либеральных западников. Вместе с тем, их идеи составили основу утопического конструкта либерального образца, так как восприятие достижений европейского либерализма не сопровождалось адаптацией к национальным условиям. Либералы-западники, в основном, познавали западноевропейский опыт, погружаясь в его прошлое и многочисленные нюансы современного этапа развития. Восхищение новых адептов либеральных ценностей прослеживается в путевых заметках, составленных ими во время путешествий за границу, особенно на фоне критического отношения к отечественной исторической традиции.

Закат николаевской эпохи стал временем обновления и концептуализации русской либеральной мысли. Вторую половину 1850-х гг. можно считать наиболее плодотворным этапом в развитии раннего русского либерализма. Богатое теоретическое наследие оставил Т. Н. Грановский, а в роли новых кумиров выступили К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин, авторы знаменитого «Письма к издателю», дерзко подписанного «Русский либерал». Существовал немногочисленный, но яркий «второй эшелон» ранних либералов, представленный именами П. В. Анненкова, И. К. Бабста, В. П. Боткина, А. В. Дружинина, Е. Ф. Корша, П. Н. Кудрявцева. Более того, в среде ранних либералов уже в этот период не было единства взглядов. Оформилось два основных течения – «народническое» во главе с К. Д. Кавелиным и «охранительное», которое представлял Б. Н. Чичерин. Именно последний вариант, окончательно сложившийся на рубеже 1850–1860-х гг. впервые превратил русский либерализм из утопического мыслительного конструкта в полноценную национальную концепцию либерального толка.

И все же не следует забывать, что представленные размышления не более чем еще одна исследовательская версия, степень достоверности которой определяется воображаемыми (т.е. принятыми академическим сообществом) пределами научного моделирования истории.

**От Каледонии к Северной Британии:  
историописание и идея нации в Шотландии в середине XIX в.**

Благодаря В. Скотту и инициированной им «романтической революции в историописании», была решена основная задача, стоявшая перед шотландскими интеллектуалами в начале XIX в., заключающаяся в том, чтобы, применяя современные способы работы с остатками прошлого, не фальсифицируя историю, показать неизбежность и полезность процессов англо-шотландской интеграции. В отличие от своих предшественников-просветителей В. Скотт не пытался полностью вычеркнуть историю Шотландии из мирового исторического процесса, он лишь превратил историю в рассказ, насытив его колоритными картинами шотландского прошлого, которое он попытался объяснить в категориях «смешанных чувств». Еще и четверть века спустя «смешанные чувства» являлись исторической реальностью.

Стиль «история-рассказ» был унаследован историками XIX века, которые, в отличие от предшественников, проводили свои исследования, опираясь на исторические документы, традиция изучения которых была заложена антикварами и В. Скоттом. Однако факторами, определившими шотландское историописание в первой половине XIX в., были не только традиция, заложенная В. Скоттом, антифеодальные и националистические доводы. Среди новых социокультурных и историографических элементов были: Французская революция, вызвавшая обеспокоенность жестокостью, сопровождавшей институциональные и организационно-правовые сдвиги; теоретические исследования конца XVIII в. о расовых различиях в рамках полиэтничных наций; а также динамика инкорпорации Шотландии в Британское королевство и изживания «комплекса недоразвитости», позволившего сформироваться тому, что Г. Мортон назвал «юнионистским национализмом» [Morton G. Unionist-Nationalism: the historical Construction of Scottish National Identity. Edinburg, 1830-1860. PhD thesis. Edinburg University, 1993].

Шотландская историография XIX века свидетельствовала, что вся история англо-шотландских отношений неизбежно вела к объединению, хотя при этом мало кто из историков отваживался отрицать, что сама уния 1707 г. стала актом политической спекуляции, но таким, который был направлен не против, а в защиту нации, не понимающей своих преимуществ. Вопрос о том, почему три четверти шотландцев первоначально не приняли объединение, был решен возведением вины на коррумпированную шотландскую элиту в лице парламента и правительства, которые не представляли мнения народа, нарушая тем самым патриархальные традиции (Chambers R. History of Scotland. L., 1832).

Уже в первой четверти XIX в. шотландскими интеллектуалами очень отчетливо ощущалась необходимость создания некоего обобщающего нарратива, который мог бы отразить все изменения в понимании шотландского прошлого, накопленные за столетие, прошедшее после унии. Эта потребность давала о себе знать и в дискуссиях интеллектуалов, и в полемике публицистов, и в спорах антикваров. Необходимо было формализовать тот подход к шотландской истории, который наиболее отвечал ее потребностям в XIX в. Одновременно, требовалось преодолеть тот разрыв, который сложился в понимании истории как процесса и истории как текста, повествующего об этом процессе.

Попытки создания новой идентичности сочетались с формированием подлинно научного подхода к изучению прошлого. На смену антикварам-любителям приходили историки-профессионалы. Осознание ценности прошлого и институализация исторического ремесла нашли выражение в изменении отношения к историческим источникам и осознании ценности свидетельств прошлого. Коллекционирование письменных источников стало национальным проектом, в рамках которого был построен первый Национальный архив Шотландии, и началась работа по изданию исторических материалов.

Принципиальное отличие исторических идей шотландских историков середины XIX в. от их предшественников в том, что они уже не давали двойственных оценок англо-шотландской интеграции. Используя документальный материал, исследователи прошлого показывали, что уния 1707 г. была способом избежать перспективы войны между Англией и Шотландией. Кроме того, договор союза не был просто внешним подражанием английским нормам, но являлся продуманным структурным решением. Тезис историков о том, что уния не нанесла ущерба национальной гордости и ничего не имела общего с национальной катастрофой, в первой половине и середине XIX в. разделялся уже большинством шотландцев, но в то же время мало учитывал ситуацию начала XVIII в. Важно, однако, другое – интеллектуальный дискурс теперь совпал с массовым восприятием союза.

Исторические идеи, с одной стороны, отражали общий интеллектуальный климат и соответствовали распространенным в то время массовым оценкам шотландского прошлого, а с другой, адаптировали концепции, выдвигавшиеся на рубеже XVIII–XIX вв. к изменившимся условиям окончательно интегрировавшейся Шотландии. Уже не на эмоциональном и литературном, а на академическом уровне доказывалось, что объединение было и неизбежным, и необходимым для сохранения шотландской нации, реальное существование которой признавалось и политиками, и историками.

К середине XIX в. шотландская историография мало интересовалась историей шотландских государственных институтов. Дискурсив-

ная природа шотландского национализма заключалась в том, что независимость, которую он проповедовал, была нереифицируемым понятием, т.е. она не нуждалась в практическом воплощении. В то же время шотландский исторический дискурс стал рассматриваться исключительно в соответствии с ее британским настоящим. Более того, историческое прошлое Шотландии было трансформировано из средства политической дискуссии в объект туристической индустрии, развитию которой содействовал рост среднего класса, имеющего возможность наслаждаться свободным временем, читая романы и путешествуя по историческим местам. Это был уникальный для Европы «коллективный суицид» элиты [Naim T. The Break-Up of Britain. L., 1981. P. 119], отказавшейся от своего шотландского прошлого в пользу нового его прочтения, в котором Шотландия превратилась в Северную Британию.

*Е. М. Мяжкова* (Институт всеобщей истории РАН)

**Образ Вандеи во французской национальной истории:  
память, идентичность, «присвоение прошлого»**

В спорах вокруг наследия Французской революции, ее завоеваний и памяти о ней происходила кристаллизация идеологических позиций. Нарождавшиеся в XIX столетии политические кланы олицетворяли собой разные «модели» государственного устройства, осязаемо и последовательно явленные в недавних событиях: правые («белые») отождествлялись с монархией, «левые» («синие») – с республикой. Среди иных поворотных моментов Вандейское восстание 1793 г. оказало заметное влияние на общественное сознание Франции. Загадочность и притягательность феномена оформились из диалектического пересечения ряда факторов – закономерных и случайных, реальных и мнимых.

Район восстания включал территорию четырех департаментов (Вандея, Дё Севр, Нижней Луары, Мен и Луары). Вандея при этом не являлась ни колыбелью мятежа (он начался повсюду почти одновременно), ни ареной его главных событий. Не идентифицировали себя с ней и сами повстанцы. Их силы («Католическая и королевская армия») были разделены по привычному «географическому» признаку (провинции), хорошо согласующемуся с местническим духом и кровнородственными связями крестьянского воинства: Армия Анжу, Армии Верхнего и Нижнего Пуату. И все-таки на языке парижской улицы «Вандея» уже в 1793 г. означала «непримиримый враг революции».

Имя мятежного края первым прозвучало в Париже из уст депутатов Конвента 15 марта 1793 г., тогда как депеши о беспорядках в других местах были получены позже. В сгущавшейся атмосфере шпиономании разгром «бунтовщиками» республиканских войск, взятие главного города Вандеи (первый департаментский центр, где поднялось белое зна-

мя роялизма) крепко переплелись с идеями измены, предательства, с последовавшим вскоре падением жирондистов, обвиненных в развязывании гражданской войны.

Монтаньяры поместили Вандею на беспрецедентном стыке внутренней (восстание марта 1793 г.) и внешней (Англия, интервенция) угроз, в философски абстрактный образ абсолютного врага. Мятельники, возглавляемые лондонскими эмиссарами, – не граждане и даже не люди, но «свинский сброд», негодная «раса разбойников», подлежащая физическому уничтожению. С востока на них обрушился поток «адских колонн» генерала Л. Тюрро, и тактика выжженной земли сделала из региона настоящее «кладбище нации». Так, якобинская аллегория исторически неверно и весьма несправедливо материализовалась в границах Вандеи. Однако «синий» террор имел обратные результаты. Жестокость, оставившая глубокий травмирующий след в психологии людей, дала удивительный шанс роялистской контрреволюции. Героические страдания повстанцев давали ей уникальную возможность для использования критической ситуации в собственных целях. «Любимое дитя роялистов, – отметил французский историк А. Бенджеббар, – родилось из недр Республики; оно получило имя в купели Конституанты и обязано славой комиссарам Конвента, не ведавшим, что Сен-Флоран и Шоле находились в Мене и Луаре. Монархия удочерила чужого ребенка, а Республика отреклась от существа, которому дала жизнь».

С этого момента термин «Вандея» в его символическом аспекте проникает на страницы мемуаров, а затем научных трудов и художественных произведений. Оказавшись общностью вне нации, регион встал перед проблемой «достоверного обоснования» своей исключительности. Началось сознательное конструирование прошлого (облеченного в мифические одежды «чистого» католицизма и «природного» монархизма) и намеренное моделирование исторической памяти. Популярность Вандеи на образно-эмоциональном уровне, как имени нарицательного, практически полностью лишила ее научного осмысления.

Празднование столетнего юбилея Французской революции несколько изменило ситуацию. К 1900 г. вопрос о политическом устройстве больше не определял границу между правыми («белые») и левыми («синие»). Монархисты и бонапартисты признали победивший режим, и прежний раскол разделял теперь бывших республиканцев на «синих» (правые) и «красных» (левые). III Республика видела свой идеал в утопической стране мелких сельскохозяйственных производителей, и уничтожительный образ крестьянства, сконцентрированный ранее вокруг «отсталости» западных земель, обрел положительную эмоциональную окраску. На протяжении всего XIX века французская история фокусировалась вокруг идеи единства, где родной край (pays) и Отечество неизбежно противопоставлялись друг другу. Роман Гюго «Девяносто третий год» завершал собой традицию «очистительного» патриотизма, поме-

щавшего мятежников «вне» общества и государства. Военные кампании 1870–1871 гг., религиозные конфликты рубежа столетий, первая и вторая мировые войны сменили дискурс дискриминации дискурсом интеграции.

Задача, отныне состояла в том, чтобы «простить» вандейцев и «забыть» их историю, избавив тем самым культовое событие (Французскую революцию) от «позорных» пятен. О крестьянском восстании либо умалчивали, либо уклончиво писали как о «нелепой ошибке», «трагическом недоразумении». Напротив, юбилей 1989 года способствовал искусственному росту самосознания региона: распалая всеми силами местной политической элиты, Вандея «присвоила» себе события гражданской войны. Осмысление ее истории переместилось с национального на локальный (краеведческий) уровень. «Горе тем, кто вознамерится коснуться вандейского пантеона! – восклицает А. Бенджеббар. – С какой бы стороны они ни приблизились к нему, они видят ангелов-мстителей, поднимающихся для уничтожения святотатцев. Невозможно касаться икон, ибо миф сильнее правды. Память, традиция, слезы здесь противопоставляются правде, а потому горе тем, кости чьих предков не покоятся на вандейской земле. Так пусть же замолчат те, кто не имеет отношения к жертвам, обгабившим святую землю».

*А. Н. Птицын* (Ставропольский ГУ)

#### **«Мир надежности»: Австро-Венгрия в исторической памяти народов Центрально-Восточной Европы**

Существование Габсбургской империи на протяжении многих столетий определяло жизнь народов Центрально-Восточной Европы. В общественном сознании этих народов сформировался образ империи как своеобразного «общего дома» и «оплота против нашествий с Юга, Запада и Востока». Несмотря на наличие в Дунайской монархии серьезных национальных противоречий, подавляющее большинство населения и представителей национальных элит вплоть до окончания первой мировой войны разделяло идею о необходимости сохранения единого государства. Однако военное поражение Австро-Венгрии привело ее осенью 1918 г. к распаду.

Крах империи означал разрыв сложившихся веками исторических связей, распад единого политического, экономического и культурного пространства. Небольшие государства, возникшие на развалинах Австро-Венгрии, на десятилетия погрузились в пучину экономических, политических и национальных проблем. Они, в большинстве своем, оказались неспособны обеспечить населению тот уровень жизни и ту степень безопасности, которые существовали в последние десятилетия Габсбургской монархии. После распада империи в регионе надолго наступила эпоха нестабильности. Поэтому вскоре после распада Австро-

Венгрии в общественном сознании ряда народов Центрально-Восточной Европы стало формироваться достаточно четко выраженное чувство ностальгии по ушедшей империи. В наибольшей степени оно оказалось присуще немцам, венграм и евреям – тем народам, положение которых после 1918 г. существенно ухудшилось.

Австрийским немцам гибель империи представлялась колоссальной национальной катастрофой. У населения Австрийской республики сразу же сформировалось убеждение в ее нежизнеспособности и в необходимости, поэтому, присоединиться к Германии. Только прямой запрет со стороны государств-победителей помешал осуществлению аншлюса еще в 1919 г. Судетские же немцы оказались гражданами «второго сорта» в Чехословакии, и поэтому имели не менее веские причины с тоскою вспоминать Австро-Венгрию и мечтать об аншлюсе.

Для венгров распад империи также стал национальной трагедией. Особенно тяжело они переживали то обстоятельство, что по условиям мирного урегулирования Венгрия потеряла существенную часть своих исторических земель, и значительное количество венгерского населения оказалось в составе соседних государств.

Кроме того, ностальгические воспоминания об империи Франца-Иосифа были свойственны представителям весьма многочисленного в регионе еврейского населения. Австро-Венгрия была одним из немногих государств, где евреи пользовались всеми правами и чувствовали себя достаточно комфортно и безопасно. В новых государствах, возникших на развалинах Габсбургской монархии, они столкнулись с национальным неравенством. А ужасы Холокоста заставили уцелевших с еще большей тоской вспоминать времена Франца-Иосифа.

Что касается славянских народов Австро-Венгрии, то среди них «габсбургская ностальгия» была гораздо слабее. В наименьшей степени она была выражена у чехов, которые обрели после распада империи вожденную национальную независимость. Отношение многих чехов к ушедшей империи иллюстрирует знаменитый роман Я. Гашека. В то же время, среди хорватов и словенцев, оказавшихся на вторых ролях в новой Югославии, чувства неудовлетворенности своим положением зачастую трансформировались в тоску по прошлому.

Ностальгия по Австро-Венгрии была достаточно четко выражена в общественном сознании ряда народов Центрально-Восточной Европы в течение нескольких десятилетий после ее распада. Примечательно, что это чувство было свойственно и их представителям, оказавшимся в этот период в эмиграции в США и других странах. Ностальгические чувства проявлялись по-разному. Пожалуй, наиболее ярко они представлены в мемуарной литературе. Самым блистательным образцом подобного рода литературы являются воспоминания С. Цвейга «Вчерашний мир», в которых Габсбургская империя рубежа XIX–XX вв. предстает как «мир надежности», чуть ли не аналог утерянного «золотого века». Кроме того, «тоска по империи» прослеживалась в много-

численных газетных и журнальных публикациях австрийской и венгерской прессы. Великолепными памятниками ушедшей империи стали литературные произведения австрийских писателей межвоенного времени (Р. Музиля, Й. Рота и многих других). Реминисценции «имперской идеи» можно проследить также в живописи, музыке и театральном искусстве Австрии и Венгрии. Следует отметить, что составной частью «имперской ностальгии» является также так называемый «габсбургский миф», продолжавший существовать и после исчезновения Австро-Венгрии. Так, например, межвоенная Венгрия продолжала формально считаться королевством, хотя престол оставался незанятым. Ностальгия по ушедшей империи была свойственна не только представителям интеллектуальной элиты, но и многим «простым людям». Об этом свидетельствует, в частности, богатый эмпирический материал, собранный в работе современного британского историка К. Цвиича «Похищение Центральной Европы (глазами очевидцев и пострадавших)».

Естественно, что с годами чувство «тоски по империи» слабело. Однако его реминисценции можно было наблюдать и в последующее время, в частности, в восторженном отношении многих жителей рассматриваемого региона к идее «единой Европы».

Бесспорно, образ Австро-Венгрии, рисуемый исторической памятью, отличался высокой степенью идеализации. Но главное, он соответствовал заветному стремлению людей к стабильному и устойчивому социальному пространству, к безопасности, сохранению международного мира. Впрочем, почти то же самое можно сказать и об образах других исчезнувших империй в общественном сознании входивших в их состав народов. Возможно, «имперская ностальгия» коренится в глубинах человеческой психики и отражает некое имманентное стремление к единству, цельности и стабильности социального бытия.

*Е. А. Селунская* (Тверской ГУ)

#### **Формирование картины революционного движения в ходе собирания и создания исторических нарративов в первое послереволюционное десятилетие (на примере деятельности Тверского истпартга)**

После 1917 г. особую актуальность приобрело новое направление исследований в отечественной исторической науке – история революционного движения и коммунистической партии, – которое сразу оказалось под контролем и руководством РКП(б). Многие исторические организации, возникшие в 1920-е гг., были призваны принимать активное участие в процессе легитимизации власти правящей партии и в формировании нового исторического сознания общества. К таким организациям относились Истпарт ЦК РКП(б) и истпартотделы при губкомах и укомах.

Процесс изучения революционного прошлого включал собирание источников по истории РКП(б), их публикацию и использование в каче-

стве экспонатов в музеях и на выставках. Деятельность истпартов была направлена на придание значимости антиправительственной борьбе социал-демократов – большевиков на рубеже XIX–XX вв., на доказательство закономерности их прихода к власти в октябре 1917 г., что являлось аргументом, оправдывающим актуальные для рассматриваемого периода идеологические, социальные и политические притязания.

Истпарт при Тверском губкоме РКП(б) был образован в 1922 г. Он занимался изучением истории рабочего и крестьянского движения, фабрик и заводов Тверской губернии, политических партий (главным образом РСДРП), составлением биографий тверских социал-демократов. Значительное внимание уделялось формированию концепции истории революционного движения на местном уровне, определенных взглядов относительно событий 1905–1907 гг. и 1917 г. В этой связи важная роль отводилась работе истпарта с населением Тверской губернии по привлечению его к созданию истории революции.

Одним из направлений деятельности Тверского истпарта было формирование нарративного комплекса по истории революционного движения в Тверской губернии. Под этим подразумевалось как собирание, учет и хранение исторических материалов (прокламаций и листовок РСДРП, газет, фотографий), так и создание новых исторических источников. В первом случае истпарт выявлял и исследовал исторические документы, сосредоточенные в Тверском губернском архивном бюро, в ведомственных архивах, а также принимал на хранение документы, сохранившиеся у населения. Во втором случае он выступал инициатором создания исторических нарративов о революционном прошлом, что достигалось посредством организованного сбора воспоминаний с использованием таких методов как опросы, анкетирование, проведение вечеров воспоминаний с последующей записью устных рассказов, что фактически вывело истпарт на новое направление – устную историю. Велась работа по учету участников революционного движения в Тверской губернии, которым рассылались запросы о предоставлении в истпарт своих воспоминаний. Для получения необходимой информации, истпарт разработал специальные конспекты – перечень вопросов, способствовавших систематизации сведений в рассказе и предопределявших их содержание согласно заданной властью схеме исторических событий. Таким образом, воспоминания являлись способом конструирования общественного сознания в рамках господствовавшей идеологической парадигмы. В процессе создания комплекса источников акценты были смещены на доказательство ведущей роли большевиков в революционном процессе.

Реакция со стороны населения была неоднозначной. Тех, кто сразу откликнулся на призывы истпарта создавать историю партии и революции, было немного. В целом же воспоминания поступали в незначительном количестве, у многих людей не было желания их писать из-за

малограмотности, занятости или просто от лени. Кроме того, в первое послереволюционное десятилетие современники были еще не способны дать полноценную характеристику недавним событиям и не испытывали острой потребности в их фиксации. В масштабе страны на это обстоятельство обратил внимание немецкий исследователь Ш. Плаггенборг. Он отмечает, что для многих людей «революция была делом прошлого... После 1918 г. массы говорили о революции в прошедшем времени: “Революция победила”. Наступила пора строительства. Для некоторых революция закончилась после того, как ее поместили в музей, расчленили на экспонаты и выставили на всеобщее обозрение. В Советской России это произошло впервые в 1919 г.» [Плаггенборг Ш. Революция и культура: Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. СПб., 2000. С. 41].

Та же тенденция проявилась среди членов РКП(б). Документы свидетельствуют, что многие из них рассматривали истпарт как второстепенную организацию. Работники губкома и укомов совмещали работу на нескольких должностях, а оказывать содействие истпарту означало брать на себя дополнительную нагрузку. Ситуация изменилась только в связи с подготовкой и проведением массовых юбилейных кампаний по празднованию 20-летия революции 1905-07 гг., 10-летия октябрьских событий 1917 г., 25-летия II Съезда РСДРП и др.

Работа по созданию комплекса исторических нарративов происходила постоянно и охватывала определенный особенностями времени круг вопросов, связанных с историей революционного движения в Тверской губернии. В рамках собирания документов и воспоминаний Тверской истпарт способствовал формированию исторических представлений, которые должны были стать господствующими в общественном сознании, и обосновывал их новыми источниками.

*А. И. Борозняк* (Липецкий ГУ)

#### **«Присвоение истории»: образы германского сопротивления в историческом сознании ГДР и ФРГ**

Понятие «присвоение истории» имеет метафорический характер, но оно, в известной степени, способствует осмыслению сущности исторической памяти и исторического сознания, помогает понять диалектику их эволюции. Вряд ли возможно свести многообразные опыты «присвоения истории» к простому манипулированию прошлым на манер трагикарикатурных эпизодов романа Дж. Оруэлла «1984». Факторы «присвоения истории» начинают становиться действенными, как правило, в болезненные для социумов периоды формирования новой национальной идентичности, когда образ определенного события (явления, процесса) прошлого становится неотъемлемым компонентом государственной идеологии и общественного сознания. Речь может при

этом идти о действительно значимых моментах минувшего – переломных, многослойных, внутренне противоречивых, органически сочетающих разнообразие идейных и политических стимулов и установок, воплощающих в себе пересечение социальных интересов.

Резерв «присвоения истории» заключается, как правило, в недостаточной (нередко намеренно недостаточной) изученности фактического материала. Это создает условия для идеологизации знаний о прошлом, формирования редуцированной модели прошедшего, для мифологизации и неизбежных грубых упрощений в монополизированных трактовках событий прежних периодов. При выбросе любого «нежелательного» компонента из формируемой картины прошлого неизбежно происходит деформация исторического процесса в целом.

Политическая идентичность двух германских государств базировалась на отмежевании от нацистской диктатуры. «Третий рейх» был негативной точкой отсчета и для ФРГ, и для ГДР, которые – каждая по своему – рассматривали себя как политическую альтернативу нацистской диктатуре: ФРГ – как парламентская демократия, а ГДР – как антифашистское государство рабочих и крестьян. При этом каждая из сторон без тени сомнений претендовала на то, что ее ответ на вызов гитлеризма является единственно возможным и правильным.

И ФРГ, и ГДР вступали в пределы послевоенного мира в условиях, когда связь немцев с прежними традициями была кардинально разорвана. Выбор явлений прошлого, модели которых могли бы послужить опорой для настоящего, был крайне невелик, и обращение к недавней, едва ли не вчерашней истории антифашистской оппозиции тоталитарному режиму было понятен и необходим.

Образ германского Сопротивления (тракуемый не только различно, но – противоположно) стал базой политической консолидации двух государств, основой их национально-государственных идеологий. ФРГ и ГДР принадлежали к антагонистичным военно-политическим союзам и находились в состоянии предельно жесткой конфронтации.

В ГДР, где (по советскому образцу) могла существовать только одна модель прошлого, официальная версия истории Сопротивления должна была обосновать властно-политическую монополию марксистской партии. Сопротивление рассматривалось почти исключительно в категориях «классовой борьбы» (исходя из т.н. «классической» концепции фашистской диктатуры как ставленника монополистического капитала). Безоговорочно доминировала установка о Коммунистической партии Германии как «единственной силе антифашистского движения». Поэтому события 20 июля 1944 г. рассматривались не как часть Сопротивления, но как главный элемент «заговора международной реакции», целью которого было спасти от полного разгрома гитлеровскую Германию и преградить Красной армии путь на Запад. При этом, правда, признавалось, что в рамках заговора существовало «демократическое кры-

ло», сторонники которого якобы стремились к контактам с коммунистами. Но общая оценка 20 июля как попытки «спасения германского империализма» продержалась почти до крушения ГДР.

Деятельность Национального комитета «Свободная Германия», который, действуя на территории СССР, являлся блоком разнородных антифашистских сил, стремившихся к скорейшему окончанию войны и свержению Гитлера, интерпретировалась в ГДР как организация, эффективно выполнявшая директивы ЦК КПГ. Аналогичным образом трактовались акции разветвленной берлинской группы антифашистов-подпольщиков, получившей в документах гестапо наименование «Красная капелла». Утверждалось, что главным ее делом была агентурная деятельность в пользу СССР. На деле коммунисты составляли меньшинство в широком объединении антигитлеровских сил, о каких-либо директивах для участников группы не могло быть и речи.

Уже первые годы существования ФРГ характеризовались резким отмежеванием от любых форм антифашистского Сопротивления, так или иначе связанных с Коммунистической партией. «Красная капелла» третировалась как «рука Москвы» или «советский шпионский центр». Действия Национального комитета «Свободная Германия» квалифицировались как «государственная измена» со стороны «предателей, стремившихся к большевизации Германии». В качестве основной политической традиции на первый план выдвигался заговор 20 июля, точнее планы его консервативной группировки, которые рассматривались в качестве фактора преемственности между антигитлеровской оппозицией и правящими западногерманскими элитами.

Крайности сходились. При внимательном рассмотрении оказывалось, что противостоявшие друг другу модели Сопротивления, адекватно соответствуя идеологическим постулатам «холодной войны», воспроизводили (но с обратным знаком!) друг друга, являлись подобием системы кривых зеркал. Такая ситуация уникальна, но именно ее уникальность содействует выяснению существа процессов, условно именуемых «присвоение истории».

Если в ГДР и общество, и историческая наука оказались неспособны к принципиальному пересмотру инструментализованного образа Сопротивления, то в ФРГ с 1960-х гг., развернулся поиск выходов из тупиков «присвоенной истории». Наряду с линией государства («политика памяти», которая все же вынуждена была трансформироваться) все большую роль играли факторы общественного мнения, смены поколений. Дискуссии, выходявшие за стены академического сообщества, новые исследовательские практики (прежде всего изучение повседневности 1933–45 гг.) убедительно показали односторонность прежних идеологизированных подходов к истории антифашистской оппозиции.

**Германия 1945–1949 гг. в воспоминаниях  
советских участников войны: взгляд из XXI века**

Советские ученые уделяли традиционно большое внимание истории Восточной Германии. В созданной их коллективными усилиями концепции очевидно влияние коммунистической идеологии и советских приоритетов в германском вопросе. После распада СССР в научный оборот были введены новые источники, расширился круг проблем, удостоившихся внимания российских исследователей. В то же время обращение к методу устной истории выявило значительный комплекс вопросов, оставшихся вне сферы интереса историков-германистов.

В 2000-01 гг. в Воронежском государственном педагогическом университете (ВГПУ) действовал российско-германский факультативный семинар «Русские и немцы в 1945–1949 гг.». Результатом его работы стали анкеты и интервью участников войны, дошедших до Берлина и оставшихся в составе группы советских оккупационных войск или Советской военной администрации в Германии (СВАГ) не менее двух лет. Уже предварительный анализ собранных материалов показал, что при всем многообразии личного опыта респондентов время и доминировавшая в течение многих лет официальная советская интерпретация событий и фактов привели к определенной стандартизации воспоминаний и схематичности ответов на вопросы интервьюеров. Состоявшееся присвоение и передача прошлого респондентами в соответствии со структурными признаками советской официальной культуры делало необходимым продолжение эксперимента. В 2008 г. Региональный центр устной истории в г. Воронеже возобновил названный выше проект, расширив его временные рамки до 1955 г. и обратившись к методу нарративного биографического интервью. На втором этапе проекта больше внимания уделялось травматическим воспоминаниям и связанным с ними эмоциям респондентов. Сочетание когнитивных и эмоциональных измерений интервью увеличили возможности изучения, как послевоенной действительности Восточной Германии, так и Советского Союза. Участниками проекта были поставлены новые вопросы, сделаны предварительные выводы.

Несмотря на то, что для советских военных Германия была страной, куда их привела война, рассмотрения требует вопрос, зависел ли исход взаимодействия русских и немцев от эволюции диспозиции «свой – чужой», неизбежно возникавшей в условиях асимметричной межкультурной коммуникации победителей и побежденных? Какую роль играло при этом знание немцами русского и русскими немецкого языков? Какую роль играл опыт пребывания в Германии в процессе биографического смыслообразования и жизни советских военных?

Неподготовленность СССР к роли оккупирующей державы усиливала тенденцию к завоеванию СВАГ союзников среди немцев, отсюда – довольно обходительное обращение советских властей в Германии с недавним врагом в первые послевоенные месяцы. Тем не менее, советские военные зачастую встречались с резко негативными оценками **своего чужими**, т.е. проигравшими войну немцами. Это вызывало со стороны оккупационных властей и отдельных военных как тенденцию к подавлению и насилию, так и стремление изменить положение. Отношение к языку, действовавшему в качестве вербального маркера, способствовало или затрудняло выстраивание диалога советских военных и немцев в Германии. Там, где данный диалог был активным, а на первый план выходило общее дело или добрососедские отношения, менялось отношение к недавнему врагу, выявлялись черты **другого** народа. Советские военные увидели специфику страны и осознали необходимость действовать в Германии иначе, чем в СССР.

Начавшееся вживание советских военных в германскую действительность и культуру, обретенная ими возможность сравнения стали причиной не только их массовой замены в 1948–1949 гг., но и долговременного запрета на выезд из СССР в ГДР. Созданное в 1949 г. Общество германо-советской дружбы предоставило немцам неограниченную возможность проявления политической корректности в отношении СССР и доминировавшей там системы ценностей.

С эскалацией холодной войны состоялось расчленение пространства Германии победителями на «свой» мир и мир «чужой». Изменилась политика СВАГ по отношению к немцам. «Чужие» немцы, т.е. не нашедшие своего места в условиях советской оккупационной зоны, вытеснились в «чужой» западный мир, выход в который оставшиеся могли реализовать лишь через советское посредничество.

Время, проведенное в Германии, наложило отпечаток на жизнь советских военных после их возвращения в СССР. Прошлое продолжало жить на уровне самосознания и как продукт официальных, групповых и личных интерпретаций, наделявших особым смыслом не только участие в войне, но и пребывание за границей бывших солдат и офицеров.

ОТДАЛЕННОЕ ПРОШЛОЕ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

*И. Е. Суриков* (Институт всеобщей истории РАН)

**Ре-актуализация и ре-интерпретация опыта античной демократии  
в исторических исследованиях на современном этапе**

Постмодернистская парадигма в последние десятилетия XX в. получила в антиковедении – одной из самых консервативных гуманитарных дисциплин, – несколько меньшее распространение, нежели в большинстве других областей исторического знания. Тем не менее тенденция к переносу в системе субъект-объектных связей акцента на субъект стала с некоторых пор заметна и в ней. Как ни парадоксально, в западной науке об античности важную роль в этой переакцентировке сыграли исследователи, придерживавшиеся модной там одно время марксистской методологии (в отличие от историографии советской, где марксизм был всегда строго монистичен). На упреки в идеологической ангажированности со стороны позитивистски настроенных коллег они отвечали, что *все* ученые, в сущности, ангажированы и занимаются не объективной реконструкцией реальности прошлого, а построением собственных ментальных конструкций; они же, марксисты, имеют в данном плане хотя бы то преимущество, что отдают себе в этом отчет.

Разумеется, «новые веяния» в наибольшей степени коснулись изучения тех проблем античной истории, которые в наши дни выглядят самыми актуальными. В первую очередь это, пожалуй, проблематика, связанная с античной (прежде всего классической афинской) демократией, ее формированием, развитием, кризисом, политическими институтами и политическими процессами, имевшими место в ее рамках, сильными и слабыми сторонами названной системы. Особенно интенсифицировались исследования афинской демократии в связи с тем, что в 1990-х гг. в ряде стран Запада (особенно в США) были проведены мероприятия, посвященные ее 2500-летию юбилею (международные конференции и симпозиумы, представительные выставки, публикация сборников статей и монографий). В нашей стране, как обычно, про этот юбилей никто, кроме узких специалистов, даже и не слышал: россияне тогда волновали несколько иные проблемы.

Нельзя не отметить, что событие, послужившее «точкой отсчета» для юбилея, было выбрано в известной мере произвольно: реформы Клисфена 508–507 гг. до н. э. Хотя Дж. Обер и называет эти события «афинской революцией», далеко не все антиковеды согласятся с тем,

что именно с них следует начинать историю демократии в Афинах. Как бы то ни было, юбилейные мероприятия стали важным импульсом к реактуализации опыта афинской демократии. А рука об руку с реактуализацией, естественно, шла его ре-интерпретация, причем временами именно в постмодернистском ключе.

Среди важнейших характеристик интересующего нас историографического процесса следует отметить, во-первых, прозвучавшие со стороны некоторых ученых настоятельные призывы к увеличению релевантности нашего постижения истории демократических Афин. «Пальма первенства» на этом поприще принадлежит, бесспорно, Дж. Оберу. Этот ученый однозначно принадлежит к числу тех, которые полагают, что исследование прошлого только тогда имеет смысл, когда оно может быть напрямую соотнесено с реалиями современности и предлагает некоторые непосредственные «уроки», что прошлое *per se* не имеет никакого особенного значения и что ценностные суждения при его анализе обязательны. Соответственно, он подвергает достаточно жесткой критике тех коллег, которые этим принципам не следуют, в частности, М. Хансена. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что и этому последнему отнюдь не чуждо сравнительное рассмотрение античных и нынешних демократий, но в рамках его концептуальных построений от такого сравнения «в выигрыше» оказываются скорее демократии античные, а подобный подход решительно не устраивает Дж. Обера, заинтересованного, по большому счету, в подчеркивании большего совершенства современных демократических устройств.

Во-вторых, в связи с развитием междисциплинарных связей между исторической наукой и политологией и с преобладающими ныне в последней тенденциями в изучении античной демократии происходит перенос внимания с политических институтов на неинституциональные политические процессы (роль властных элит, механизмы достижения влияния, формирование общественного мнения, пиар и т. п.). Здесь в «авангарде» опять же Обер, а Хансен остается в числе немногих, продолжающих отстаивать преимущества институционального подхода к античности, причем достаточно аргументированно. Есть и ученые, стремящиеся придерживаться «средневзвешенной» позиции (П. Родс).

В-третьих, всё более явным становится стремление специалистов сделать свои разработки политкорректными. Антиковеды, в частности, не раз уже подвергались упрекам в недостаточном внимании к гендерной проблематике, преувеличении места мужчин в античной истории и пренебрежении ролью женщин, хотя всё это, нужно сказать, не чья-то вина, а объективное следствие имеющегося состояния источников. Даже в самых демократических полисах женщины и ряд других категорий населения (например, метэки, не говоря уже о рабах) были практически полностью исключены из гражданской жизни. В результате, древнегреческим демократиям подчас даже отказывают в праве носить это имя.

Но не следует забывать о принципе историзма и учитывать хотя бы тот факт, что еще в XIX в. в самых развитых демократиях Запада женщины не пользовались безусловным равноправием.

Наконец, назовем еще такой неожиданный фактор нарастания субъективных установок в историографии, как нарастающая коммерциализация всех сторон жизни, сказывающаяся и на науке. Всё труднее становится публиковать фундированные монографические исследования, интересные в основном для специалистов и не сулящие выгоды. Издательствами этот жанр не приветствуется, они в последнее время предпочитают, чтобы ученые создавали популярные книги, упрощенным изложением рассчитанные на широкую, максимально невзыскательную аудиторию. По едкому выражению П. Родса, перед авторами ставят задачу «писать для Винни-Пуха». Книги такого рода не предполагают всесторонней и безупречной аргументации выдвигаемых положений, а скорее их более или менее удачное декларирование. Итогом в ряде случаев становятся произвольные трактовки свидетельств источников, не вполне ответственные тезисы, представления о том, что с прошлым «можно делать всё, что угодно» и т. п.

*Ерванд Маргарян* (Армения)

### **Теория и практика социального устройства эллинистической Армении**

На протяжении всей истории своего существования западная философская и политико-правовая мысль породили многочисленные утопии, ставшие альтернативой существующей ангажированной идеологии, примерами альтернативной социальной структуры, типа Космополиса, Церкви, Града Божия и пр. И хотя утопия не синонимична идеологии, более того, по форме, как правило, мифологична, она все же несет в себе значительную идеологическую нагрузку и на определенной стадии общественного бытия становится инструментом, подрывающим основы господствующей идеологии, одновременно порождающим новые формы. Формирование субстанции и формы утопии не происходит в социально-нейтральной среде. Зарождающиеся в недрах общественного сознания утопические конструкты всегда наполнены живым содержанием и со временем могут обрести плоть и кровь. Квазиутопия часто выступает как продукт индивидуального сознания и лишь затем входит в число политических устремлений широких слоев. То, что было утопией сегодня, может стать действительностью завтра.

Яркий пример действенной квазиутопии, взорвавшей сложившееся историко-социальное бытие ради утверждения более гармоничной и соответствующей новой эпохе «структуре бытия» являют утопические конструкты эпохи пред-эллинизма. Среди них особенно выделяется

историко-философский роман Ксенофонта «Киропедия», где пророчески, хотя и в идеализированной форме, представлено общественное устройство нарождающейся эллинистической эпохи.

Подобно большинству своих современников, видя кризис полисной республики и ее несостоятельность на данном отрезке социального бытия, Ксенофонт – на основании личного опыта и под влиянием новейших философских доктрин – стал разрабатывать новые политологические доктрины, облеченные в нарочито утопическую форму. Ученик Сократа отказался от чисто республиканской формулы власти, взамен отдав предпочтение смешанному типу государственного устройства, сочетающего в себе прежде считавшиеся несовместимыми категории – аристократическую рационалистическую республику, демократию и автократию. Таким образом, Ксенофонт стремился не только примирить неординарную личность и республиканские ценности, но и поставить индивидуализированную личность на службу республике, сделать её защитником республиканских институтов, а не их могильщиком. По убеждению Ксенофонта добиться формирования подобной личности, сочетающей республиканские доблести с неограниченным умом и волей, можно с помощью пайдеи, что и стало основополагающей идеей «Киропедии» (переводимой «Воспитание Кира»).

Своё воображаемое протогосударство, своего рода архетипический социум, Ксенофонт поместил не у себя на родине или, к примеру, далеко на Западе, за Геркулесовыми столбами, как это сделал другой ученик Сократа – Платон, а на Востоке. Именно там в ближайшем будущем должна была возникнуть эллинистическая империя Александра Великого и её многочисленные последыши. Это было не просто предчувствие или случайная догадка – Ксенофонт, Исократ и, вероятно, многие другие их современники осознавали, что зарождение нового типа цивилизации невозможно на почве античной Греции, где традиционные формы полисной жизни (классическая *res publica*) зашли в тупик и стали тормозом на пути дальнейшего развития греческого социума. Однако сила инерции и складывающиеся на протяжении веков стереотипы догматизировали античную политическую мысль и не позволили грекам совершить решительную ломку существующей системы власти. Для создания новой синкретической формы управления социумом как нельзя больше подходил Восток, вопреки расхожему мнению, обладающий большей толерантностью и позволяющий мирно сосуществовать республиканским формам жизни (яркий пример – древние города-государства Сирии и Финикии) и имперской власти.

Квазиутопические доктрины Ксенофонта вызывали живейший интерес не только у современников, но и у многих деятелей эпохи эллинизма. Не составила исключения и Армения, где правители и философы пытались претворить теоретические конструкты афинского философа в жизнь. Особенно интересны и показательны в этом отношении попытки

претворения в жизнь политософических доктрин эллинистических философов в Армении в эпоху Тиграна II и Артавазда II.

Основной задачей этих царей было построение своеобразной просвещённой монархии, в которой царь управляет подданными не как деспот, а согласно законам разума и общественной необходимости, опираясь на значительную прослойку просвещённых подданных, прошедших школу морально-политического образования под руководством учителей-философов. Именно из этой элитарной прослойки царь собирался рекрутировать основную массу чиновничьего аппарата. В некотором смысле Тигран, пусть ненадолго, предвосхитил Римский принципат, по выражению некоторых современных исследователей – «республиканскую монархию». Более того, ему удалось примирить явления, прежде считавшиеся непримиримыми и взаимоисключающими – республиканские идеалы и яркую индивидуальность. Наиболее ярко это сочетание проявилось в образе Артавазда, царя-интеллигента, пожалуй самого талантливого из учеников Метродора.

Сегодня, когда политософическая мысль находится в поисках новых конструкций, парадигмы античных философов и наработки теоретиков и практиков армянского эллинизма могут оказаться весьма актуальными и сыграть роль своеобразного суфлера в попытках найти ответы на наиболее актуальные этические и социальные вопросы современности. Среди них, пожалуй, наиболее актуальными остаются вопросы совместности республиканских институтов с честолюбивыми устремлениями индивидуализированной личности, которая разочаровавшись в республиканизме, либо запершись в башне из слоновой кости, впадает в абсентеизм, либо устремляется к неограниченной власти.

*М. С. Петрова* (Институт всеобщей истории РАН)

#### **Реконструкция биографии просопографическими методами (на примере Элия Доната)**

Доклад посвящен латинскому грамматисту (сер. IV в.), Элию Донату, и реконструкции основных этапов его жизненного пути, выполненной с помощью просопографических методов.

Аргументация доклада строится на анализе относящихся к личности Доната текстуальных свидетельств, встречающихся у Иеронима (*Chron.* [PL 27, 687]; *Comm. in Abacuc* II, 3 [PL 25, 1329D]; *Apol. adu. lib. Rufini* I, 16 [PL 23, 410A]; *De vir. ill.* 101 [PL 23, 701AB]) и Августина (*Conf.* VIII, 2, 3-5; VIII, 5, 10, [PL 32, 750-751; 753]; *De ut. cred. ad Hon.* 7, 17 [PL 42, 77]). К рассмотрению привлекаются титулы и надписи манускриптов (как ранних [VIII–X вв.], так и поздних [XI–XV вв.]), содержащих сочинения Доната: *Ars grammatica*.

В докладе показано, что время жизни Доната может быть датировано периодом между 310 и 390 гг.; делается вывод о том, что Донат и римский ритор и ученый Марий Викторин (275 – п. 362) являлись современниками: оба преподавали в Риме и были коллегами по школе. С большой степенью вероятности устанавливаются хронологические рамки (354–363) педагогической деятельности Доната в Риме. Отвергается интерпретация надписи позднего кодекса (MS Paris, Bibl. Nat., Lat. 7920 [s. XI]), согласно которой Донат в конце жизни мог быть риторм Рима, а также вероятность того, что Донат, оставив Рим, мог работать в Константинополе. Установлено место рождения Доната (MS Vat., Lat. 2905 [s. XV]), уточнены его имя (Элий [Aelius]), прозвище (Донат [Donatus]) и титул (v[ir] c[larissimus]).

Рассматриваются относящиеся к Донату свидетельства ближайших современников, а также представителей следующего поколения. Приводятся свидетельства высокого авторитета высказываний Доната как в период, непосредственно следующий за его смертью (Hier., *Comm. in Eccl.* I [v. 9, ll. 230-233 (col. 583), CETEDOC, или PL 23, 1019A]), так и около двухсот лет спустя (Greg. I, *Mor.* 5 [PL 75, 516B]).

В заключение дается аналитический обзор *Грамматического искусства (Ars Grammatica)* Доната; обсуждается последующая, весьма устойчивая, традиция именования частей его сочинения (*Ars minor* и *Ars maior*), сохранившаяся вплоть до нынешнего времени; рассматриваются возможные причины возникновения указанных названий.

**И. В. Ведюшкина** (Институт всеобщей истории РАН)

**«Библейский код», «византийское влияние»  
и складывание дискурса древнерусской идентичности**

В историографии чрезвычайно распространено мнение о том, что древнерусская терминология и фразеология обозначения и описания самых разных (этнических, политических, религиозных, а позднее и конфессиональных) общностей складывалась под влиянием старославянских и древнерусских переводов с греческого. При этом *воздействие* переводной книжности на интеллектуальное развитие Руси и других славянских стран «Византийского культурного круга» зачастую безо всяких оговорок и уточнений приравнивают к почти механическому *переносу* на новую (славянскую) почву византийской идеологии. Впрочем, существует и другая точка зрения, правда, более маргинальная, которая роль корпуса переводной славянской книжности обозначает словами “imaginary filter” или даже “cultural blockade” [Franklin S. The Empire of the *Rhomaioi* as viewed from Kievan Russia: Aspects of Byzantino-Russian Cultural Relations // *Byzantion* (1983). Vol. 53, fasc. 2. P. 513].

Чтобы избежать крайностей и поверхностных априорных суждений следует принимать во внимание несколько обстоятельств.

Во-первых, корпус авторитетных текстов, которые для Руси и славянских православных стран играли роль «библейского кода», был одновременно и шире, и уже, чем собственно книги Ветхого и Нового Завета. Шире, – потому что с самого начала в состав этого корпуса входили не только библейские книги, но и сочинения восточных Отцов Церкви и видных церковных писателей: экзегетические труды, гомилии, гимнография, агиография; на Руси, наряду с этим, еще и древнерусский перевод хроники Георгия Амартола (Монаха) с Продолжением. Уже, – потому что далеко не все книги Ветхого Завета были переведены в культурном ареале *Slavia Orthodoxa* в первые века после их приобщения к христианству. Поэтому многие эпизоды Священной Истории и цитаты из Ветхого Завета были известны лишь в хронографическом пересказе или в литургическом, а не библейском контексте.

Во-вторых, лексика и фразеология переводных памятников, вовсе не давала раз и навсегда заданных образцов. Корпус славянской переводной книжности начал складываться в 60-е годы IX в., в эпоху первоучителей Кирилла и Мефодия. Затем переводческая деятельность была продолжена в Болгарии блестящими книжниками эпохи царя Симеона (893–927). И уже в это время в славянской книжности складываются различные традиции перевода, в т.ч. и передачи греческих терминов обозначений общностей. Например, греческое *ethnos* в кирилло-мефодиевскую эпоху чаще передается славянским «язык» (хотя в целом переводческой технике первоучителей была свойственна творческая вариативность подбора лексических эквивалентов, у них достаточно мало однозначных соответствий, когда греческой лексеме строго соответствует одна славянская). В Симеоновскую же эпоху *ethnos* чаще начинают переводить как «страна». При этом (хотя именно в X в. в Болгарии складываются переводческие школы, строго устанавливающие однозначные соответствия для многих групп греческой лексики) ни одна из реально сохранившихся древнейших славянских рукописей не передает кирилло-мефодиевскую или симеоновскую традиции перевода, скажем, Псалтыри, в чистом виде: «язык» более или менее последовательно заменяется «страной» в первых двух десятках псалмов, потом внимание редактора ослабевает, к концу вновь обостряется... При переводе толкований на Псалтырь Феодорита Кирского, изгнанный было из текста псалмов термин «вдруг» появляется в толкованиях. Даже в таком древнем памятнике славянского письма как Супрасльская рукопись одни и те же цитаты из Псалтыри встречаются в разных вариантах (например, Пс. 2.1. есть и со «страной» и с «языком»).

Вариативность в переводах влечет за собой вариативность в оригинальных текстах. Сходные подборки пророчеств на актуальную тему – о посрамлении последователей Моисеева Закона и превращении бывших язычников в «народ Божий» – в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона и в «Речи Философа» вводятся фразами (соответственно): «...языщи приведены, а иудеи отриновены...» и «...о отвержении жидовьсте и о призваньи стран...». Очевидно, что памятники ориентируются на разные традиции передачи греческого *ethnos* в славянской переводной книжности.

В выполненном предположительно на Руси в XI в. переводе Хроники Георгия Амартола последовательно совмещаются разные переводческие традиции: в качестве эквивалентов *ethnos* встречаются и «язык», и «страна», и даже «страньный язык». Синтез переводческих школ вообще характерен для ранних переводов с греческого.

Именно опираясь на различные традиции славянских переводов с греческого в оригинальных русских памятниках XI века делались разные попытки «сконструировать» самообозначение для новокрещенного народа: в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона это «русский язык», а во вводной части «Чтения о Борисе и Глебе» Нестора – «*страна* русская». Но обе конструкции остались в домонгольской книжности практически невостребованными (не исключено, что именно из-за чересчур прозрачных библейских аллюзий, по-настоящему актуальных только в первые десятилетия после Крещения): в качестве общепринятых самоназваний закрепились Русь и Русская земля.

Необходимо также учитывать, что многие заложенные в византийских текстах идеи сильно видоизменялись уже в процессе перевода. В частности, имперская идея римско-византийского континуитета разрушалась в результате передачи греческого *Rhomaioi* тремя разными славянскими лексемами – «римляне», «ромей» и «греки». То же самое (и по той же причине) произошло с ясно выраженной в Хронике Георгия Амартола идеей периодизации истории по четырем всемирно-историческим монархиям. А византийская (и общехристианская) идея божественного происхождения власти на Руси легко трансформируется в сакрализацию династии и самого *наследственного принципа* передачи власти, чего в Византии не было и быть не могло. При этом основные положения христианской догматики оказались переданы древнейшими славянскими переводами очень точно.

Ни «библейский код», ни «византийское влияние», при всей их важности, сами по себе жестко не предопределяли всех особенностей оформившихся с их помощью собственно древнерусских дискурсов.

### **Воображаемая география как отражение реальности\***

В последние три десятилетия появился ряд фундаментальных работ, посвященных теме «воображаемой географии», или «ментальным картам». Термином «ментальная карта» (*mental map*) обозначается субъективное представление человека или группы людей о части окружающего пространства. В историографии, разрабатывающей концепцию «ментальной карты», предметом исследования являются дискурсивные практики по формированию различных схем географического пространства и наделению тех или иных его частей определенными характеристиками. Хотя все имеющиеся в мировой науке крупные исследования ментальных карт (в т. ч. посвященные Восточной Европе работы Л. Вульфа и И. Нойманна) оперируют источниками, относящимися к Новому и Новейшему времени, разработанные их авторами исследовательские методики находят применение и при анализе сведений античных и средневековых памятников. Так, новейшее исследование античных и средневековых гидронимов Восточной Европы позволило представить их не как простую совокупность топонимических данных, а как органичный элемент ментальной карты, сформировавшейся на базе определенной дискурсивной практики [Джаксон Т. Н., Калинина Т. М., Коновалова И. Г., Подосинов А. В. «Русская река»: Речные пути Восточной Европы в античной и средневековой географии. М., 2007].

Сегодня уже вряд ли кто будет оспаривать утверждение о том, что сочинения средневековых географов и картографов являются их авторскими конструкциями той или иной части мирового пространства. Даже заимствуя материал у предшественников, средневековый географ создавал «свое» индивидуальное пространство, субъективно считая его реальным. В пределах этой авторской конструкции некоторые топонимы служат для обозначения реального, физического пространства, т. е. относятся к конкретным географическим объектам (как правило, к приморским городам, морям или устьям рек). Такие топонимы по своей функции подобны современной географической номенклатуре, где каждый хороним, ойконим, гидроним, ороним точно соответствует какому-то одному конкретному объекту – стране, населенному пункту, реке, озеру или горе. В то же время толкование многих других топонимов средневековых авторов (в особенности гидронимов и оронимов), исходя из принципа «одно наименование в источнике – один географический объект на современной карте», зачастую приводит в тупик, и это

---

\* Работа выполнена при финансовом содействии РГНФ (проект № 07-01-00058а) и РФФИ (проект № 06-06-80285а).

побуждает обратить особое внимание на методические аспекты интерпретации сообщений средневековых географов.

Историографический опыт исследования сообщений о Восточной Европе в сочинениях арабских ученых IX–XIV вв. со всей очевидностью показывает, что привычное стремление видеть за каждым топонимом источника конкретный географический объект приводит к тому, что отправной точкой исследования становится современная карта, тем или иным названиям на которой пытаются найти соответствия в текстах и на картах средневековых авторов.

Куда более перспективным представляется изучение состава сообщений арабских ученых. Даже беглый взгляд на рассказы о реке *Атил*, «Русской реке», озере *Тирма*, горе *Кукайя*, «(полу)острове русов» и др. убеждает в том, что информация об этих объектах «многослойна». При этом естественная попытка выделить в составе того или иного сообщения безусловно достоверные данные и положить их на современную карту, как правило, сама по себе не позволяет понять смысл и значение географических образов, созданных средневековыми авторами. Дело в том, что сведения, вошедшие в состав рассказа о каком-либо объекте, представляют собой не механический набор данных, а органическое единство, обеспеченное тем географическим содержанием, которое вкладывал в рассматриваемое понятие средневековый писатель.

Так, ал-Идриси (XII в.) объединил сведения различных источников о стоящих на реках северных городах с представлением о грандиозном водном пути, связывавшем между собой северные и южные районы Восточной Европы. В результате на карте географа появилось изображение огромной реки, протянувшейся с севера на юг до Черного моря и названной им «Русской рекой». Гидроним «Русская река» целиком является плодом работы ал-Идриси, который сумел органично согласовать современные ему маршрутные данные с системой географических представлений, унаследованной от мусульманской традиции. Ал-Идриси сам создал топоним для обозначения важной для современной ему культуры географической реальности – представлении о возможности водным путем пересечь Восточно-Европейскую равнину в меридиональном направлении.

Точно так же на ментальной карте Восточной Европы появились и другие топонимы, использовавшиеся многими арабскими авторами. Плохо известный мусульманам участок пути купцов-русов из славянских земель в Хазарию осмысливался арабскими авторами как речной путь («Река славян»), в связи с чем в первом в исламской литературе рассказе о стране русов она предстает в виде окруженного водой «(полу)острова русов». Труднодоступные области Земли превращались под пером средневекового арабского географа в изображение заснеженной горы *Кукайя*, обнимающей всю северную оконечность ойкумены.

Так на средневековой карте появляются воображаемые объекты, не существующие в действительности. В представлении самих мусульманских ученых топонимы, подобные «Реке славян», «Русской реке», «горе Кукайа» и др., называют единичные предметы, однако на деле их семантическое содержание гораздо шире. Такие топонимы имеют образный концептуальный характер, актуализирующий целый пласт культурно-исторической информации и комплекс различных ассоциаций у той аудитории, к которой обращался средневековый географ.

*Е. А. Мельникова* (Институт всеобщей истории РАН)

#### **Легенда об азиатской прародине в средневековой Скандинавии\***

Мотив прародины характерен для исторических традиций многих народов. Как правило, в нем аккумулирована память о происходивших в прошлом миграциях, результатом которых стало расселение народа на тех территориях, где их застают их древнейшие историописатели. Невзирая на то, что скандинавские народы обитали на севере Европы уже, по крайней мере, с эпохи бронзы и не переживали миграций на протяжении полутора тысячелетий, в древнескандинавской исторической традиции существовало большое число «переселенческих» сказаний (в основном, о выселении из Скандинавии) и повествования о прародине – обиталище богов, асов и ванов, от которых произошли династии правителей Скандинавских стран.

«Сага об Инглингах», первая в своде королевских саг «Круг земной» Снорри Стурлусона (ок. 1230), открывается повествованием о «Великой или Холодной Свитьод», расположенной к северу от Черного моря в Азии (название сопоставляется с наименованием асов), о жизни асов и ванов во главе с Одином, их миграции на север и расселении в Скандинавских странах. Древнейшая аллюзия на «азиатскую» легенду содержится в «Книге об исландцах» Ари Торгильссона Мудрого (1122–1132), где род Инглингов (правителей Свеаланда) ведется от «Ингви, конунга тюрков» (i Yngvi Turgjakonungr. ii Njögðr Sviakonungr. iii Freyr. iii Fjölning). В этом кратком генеалогическом перечне отразились ее основные мотивы, прежде всего, связь династии Инглингов с Азией. Те же мотивы – Великая или Холодная Свитьод как прародина Одина и его рода, переселение в Скандинавию через Центральную Европу, распределение Одином стран между сыновьями Скъэльдом (Дания) и Ингви (Швеция) – присутствуют в «Саге о Скъэльдунгах» (1180–1200), использованной в «Круге земном». С середины XIII в. происхождение Одина и скандинавов из Азии многократно упоминается в разных произведениях («Третий грамматический трактат», ок. 1250 г.; географиче-

---

\* Работа подготовлена в рамках проекта РФФИ (№ 06-06-80118а).

ские сочинения «Описание Земли Ш», конец XII – начало XIV в. и «Какие земли лежат в мире», ок. 1310 г.; «Сага о Боси», до 1350 г.; генеалогии в «Книге с Плоского острова» и др.). Таким образом, легенда об азиатской прародине возникла не позднее начала XII в. Более того, в это время она была уже настолько распространена в Исландии, что Ари мог рассчитывать на ее актуализацию даже при кратком намеке.

Рассказ о происхождении Одина и скандинавских династий приведен и в Прологе к «Младшей Эдде» (1222–1225), также принадлежащей, как считается, перу Снорри. Однако в нем местом первоначального обитания асов названа Троя (которая отождествляется Снорри с Тюркландом), где правят предки Одина (приводится генеалогия, начинающаяся от «Мунона или Меннона» – Агамемнона, женатого на Троян, «дочери верховного конунга Приама», у которых был сын Трор = Тор). Затем перечисляется длинный ряд предков Одина и описывается его переселение через Центральную Европу в Скандинавию. Источником «тройанской» легенды для Снорри (как и для автора географического трактата «Какие земли лежат в мире», который, однако, не связывает ее с происхождением Одина) послужила «Сага о троянцах» (начало XIII в.) – переложение «De excidio Troiae historia», приписываемого Дарию Фригийскому (V–VI вв.) и широко используемого в европейских династических легендах начиная с VII в. Опираясь на азиатское местоположение Трои, Снорри соединил «азиатскую» легенду с «тройанской» и тем самым создал новую «генеалогию» Одина и, соответственно, династий Швеции, Норвегии и Дании – аналогичную современным ему генеалогиям английских, французских и германских правителей.

Классическое исследование этих текстов А. Хойслера (1908 г.) определило отношение к ним как к «ученой праистории» – эвгемеристическому повествованию, созданному Ари Торгильссоном и развитому Снорри Стурлусоном, которые пытались переосмыслить древнескандинавскую мифологическую традицию в контексте христианской культуры и учености. Однако между «азиатской» и «тройанской» легендами имеются столь существенные различия, что их необходимо рассматривать как самостоятельные и разнохарактерные повествования.

Во-первых, источники «азиатской» легенды неизвестны (согласно А. Хойслеру, это чисто умозрительная конструкция), тогда как «тройанская» легенда опирается на общеевропейскую традицию.

Во-вторых, они принадлежат к различным типам *myths of origin*. «Азиатская» легенда – это *origo gentis*, миф о происхождении народа, который сочетается с генеалогией правителей (*origo regis*) – от Одина. «Тройанская» же легенда у Снорри – прежде всего династическая генеалогическая конструкция (*origo regis*), возводящая Одина и, соответственно, скандинавские правящие династии, к троянцам.

В-третьих, в «азиатской» легенде отчетливо проявляется мотив прародины (полностью отсутствует в «тройанской легенде», которая обо-

значается как «Свитьод Великая или Холодная» и помещается в Северном Причерноморье. Этот хороним, возникший как калька широко распространенного в средневековой литературе античного обозначения Северного Причерноморья «Скифия Великая или Холодная», появляется уже в начале XI в. в переложениях житий апостолов (в «Саге об апостоле Андрее» и др.). Предполагается, что выбор топонима *Svíþjóð* обусловлен созвучием с *Scithia*, что отнюдь не бесспорно. Во всяком случае, помещение «прародины» скандинавов в Северном Причерноморье ни в коей мере не кажется случайным: в героическом эпосе, сагах о древних временах и др. сохранились воспоминания о пребывании готов в Северном Причерноморье в виде упоминаний Днепра и Дуная, а также Хрейдготаланда («Земли славных готов») и Хуналанда («Земли гуннов»), помещаемых географическими трактатами на юго-востоке Европы. Мотив северо-причерноморской прародины мог вытекать из памяти о миграциях на север некоторых из восточногерманских племен после нашествия гуннов (возможно, какие-то части готов) и в ходе Великого переселения народов (Герулы), и актуализироваться в эпоху викингов многочисленными походами на Русь и в Византию. Традиционное же представление о Свеаланде (*Svíþjóð*) как о «новой родине» конунгов-Инглингов, потомков Одина, могло обусловить использование того же хоронима «Свитьод» и для обозначения их прародины.

Таким образом, если «троянская» легенда действительно представляется «ученой праисторией» скандинавов, созданной Снорри, то легенда об азиатской (северо-причерноморской) прародине скандинавов – Великой Свитьод, вероятно, восходит к исторической памяти о миграциях германских племен эпохи Великого переселения народов.

**А. В. Подосинов** (Институт всеобщей истории РАН)

#### **Морские проливы в античной картине мира: их значение и функции\***

Проливы играли особую роль в истории античного мира. «Наше море», как называли акваторию Средиземного, Мраморного, Черного и Азовского морей греки и римляне, разделялось на отдельные моря проливами – Гибралтарским (Гадитанским), Мессинским (Сицилийским), Дарданеллами (Геллеспонтом), Босфорским (Боспором Фракийским), Керченским (Боспором Киммерийским). Проливы всегда были местом этнических, политических, экономических и культурных контактов различных культур, а часто границей, их разделяющей; кроме того, начиная с древнейших времен, с ними были тесно связаны архаичные космологические и мифологические воззрения греков.

---

\* Работа выполнена при поддержке РГНФ (проекты № 07-01-00058а и № 08-01-00080а).

Представления о форме Земли, контурах и рубежах ойкумены, омывающем сушу океане, очертаниях внутренних и внешних морей, знания о течении крупнейших рек (Нил, Истр, Танаис, Фасис и др.), наконец, мифологические представления о царстве мертвых и его локализации – все это накладывало определенный отпечаток на восприятие проливов. Проливы, соединяющие «Наше море» с Внешним океаном, представляли не только как географические реалии, но и как категории мифологические.

В архаическое время, когда кругозор греков был ограничен несколькими морями, примыкающими к Греции и Малой Азии, оба «внутренних» пролива – Босфорский и Мессенский – воспринимались, по-видимому, как рубежи ойкумены, выход во Внешний океан, а значит в потусторонний мир, поскольку именно там локализовали царство мертвых. Поэтому античные герои (например, Одиссей), которые достигали в своих странствованиях царства мертвых, должны были попадать туда через эти два пролива, отмеченные такими «страшными» атрибутами как «Сходящиеся скалы» (Симплегады) в одном, и Сцилла и Харибда – в другом проливе. Со временем оба пролива были распознаны как внутренние в Нашем море, а проливы, соединяющие Наше море с Океаном, окружающим ойкумену, были отнесены дальше – к крайним пределам Нашего моря. Если Гибралтарский пролив был раз и навсегда «правильно» определен как пролив во Внешний Океан, то с восточными проливами все оказалось сложнее.

Уже вход в Черное море через Босфор воспринимался до его освоения греческими колонистами как вход в потусторонний мир. С таким представлением согласуется помещение при входе в Черное море и страны живущих на берегу Океана киммерийцев, где Одиссей нашел вход в Аид, и острова Левки (= острова блаженных), где Ахилл – владыка мертвых – жил после своей смерти под Троей, и Таврики (Крыма), где было место пребывания принесенной в жертву Агамемноном Ифигении, получившей, как и Ахилл, бессмертие и превратившейся в Гекату – богиню смерти, тесно связанную с миром мертвых, и пещеры (и реки) Ахерон в районе Гераклеи Понтийской, соединяющей этот мир с Аидом, из которого Геракл извлек стража подземного мира трехголового пса Кербера. В причерноморском регионе помещали древние греки и такие «реалии», как Кавказскую скалу, к которой Зевс приковал Прометей, дракона, сторожившего золотое руно в сказочном заокеанском царстве Ээта и многие другие чудеса.

Связь Черного моря с потусторонним миром объясняется как раз тем, что плавание в Черное море в древности воспринималось греками как выход в Океан, а само Черное море как часть Океана. Греческий географ рубежа эр Страбон свидетельствует: «В гомеровскую эпоху Понтийское (т.е. Черное. – *А.П.*) море вообще представляли как бы вто-

рым Океаном и думали, что плавающие в нем настолько же далеко вышли за пределы обитаемой земли, как и те, кто путешествует далеко за Геракловыми Столпами... Может быть, по этой причине Гомер перенес на Океан события, разыгравшиеся на Понте, предполагая, что такая перемена окажется по отношению к Понту легко приемлемой в силу господствующих представлений» (I, 2, 10; перев. Г.А.Стратановского).

Отсюда, вероятно, берет начало и прослеживаемое на протяжении всей античности представление о том, что Черное море соединяется с Северным Океаном (через реки Дон и/или Волгу), или же – по принципу удаления фантастического на более отдаленную периферию – что Меотиды (Азовское море) является заливом Океана. По мере освоения Черного моря в результате Великой греческой колонизации стало ясно, что это – замкнутое море, напрямую не связанное с Океаном. Однако попытки «связать» его с Океаном не прекращались на протяжении всей античности. Об этом свидетельствует, например, перенос названия Босфора (Фракийского) на Керченский пролив (Босфор Киммерийский); пролив, который должен был соединять Наше море с Внешним Океаном, таким образом отодвигался за Черное море, а его функция границы между этим и потусторонним миром передавалась новому, имя которого оказывалось связанным с киммерийцами. Древнейшие легенды, описывавшие плавание аргонавтов по Черному морю как плавание в Океане, в потустороннем мире, требовали своего «оправдания» в новой географической ситуации. Отсюда прослеживаемые в античной литературе представления о Фасисе (*совр.* Риони) или Танаисе (*совр.* Дон) как реках, соединяющих бассейн Черного моря с Северным океаном. По этим рекам аргонавты теперь могли выходить в Окружающий океан, проплывать по нему до юга Африки, входить в Нил, который тоже мыслился как вытекающий из Океана, и по Нилу попадать в Наше море. В этой связи особого внимания заслуживает место в мифо-географической картине мира Азовского моря, как моря, к которому ведет «последний» пролив из Нашего моря (теперь уже Босфор Киммерийский).

Таким образом, античные проливы – это изначально символ выхода в открытый океан, т.е. из «нашего», (среди-)земного, цивилизованного мира в «чужой», фантастический, потусторонний, варварский; они воспринимались как нечто лимитрофное между жизнью и смертью. По мере освоения ойкумены обнаруживались проливы, которые действительно оказались воротами в океан, и если на западе Нашего моря это произошло довольно быстро, то на востоке, в районе Черного и Азовского морей, процесс физического и ментального освоения проливов шел долго и противоречиво. Априорные космологические и мифологические схемы, в рамках которых древний грек видел вселенную и ойкумену, долго не давали ему «смириться» с географической асимметрией.

«Путевая формула» исландских саг\*

1. Исландские саги как жанр, и это признано всеми исследователями, отличает «объективность». Суть этой объективности в том, что автор как бы «ничего не знает» о мыслях, чувствах, переживаниях, намерениях своих персонажей. Он «знает» только о том, что может быть подтверждено свидетельством очевидцев. Как следствие этого, действительность представлена в сагах своим событийным планом.

2. Одним из главных событий в жизни средневекового скандинава было путешествие. Путешествие могло быть вынужденным (к примеру, в результате объявления кого-то вне закона), а могло совершаться и по собственному желанию человека. Путешествие могло быть разной протяженности – оно могло проходить внутри страны (Исландии, Норвегии), а могло и вовне (хорошо известна широта горизонтов эпохи викингов). Путешествие могло совершаться с самыми разными целями: освоение новых земель, грабительское нападение, война, торговля, встреча, посещение кого-то или чего-то, сватовство, свадьба, необходимость разрешить конфликт, назначить встречу, узнать или передать новости, и т. д. Соответственно, одно из основных действий в сагах – путешествие сагового персонажа. Мотив путешествия чрезвычайно характерен и важен для саг. Путешествие – т.е. перемещение в пространстве – можно назвать составляющей саг.

3. Путешествия в сагах не только являются частью действия, но также помогают охарактеризовать героев. Мотив путешествия – сам по себе является важной частью характеристики индивида, о котором идет речь. Яркий пример находим в «Саге о Магнусе Голоногом» (по «Гнилой коже», «Красивой коже», «Кругу земному» и «Хульде»), где в посмертной характеристике конунга Хакона Воспитанника Торира (1093–1094), без какой-либо связи с предшествующим повествованием и сюжетно не оправданно упоминается поездка конунга в *Бьярмаланд*, приведшая к сражению и одержанной в нем победе. Скорее всего, путешествие в эти отдаленные земли на берегах Белого моря расценивалось авторами саг и, вероятно, их аудиторией как проявление героизма, а потому могло выступать в сагах как элемент положительной характеристики конунга или ярла. Подтверждением этой мысли могут служить слова исландского скальда Глума Гейрасона из его «*Gráfeldardrápa*» (975 г.), относящиеся к походу Харальда Серая Шкура против бьярмов: «Примиритель мужей снискал себе добрую славу в этом походе».

4. Саги можно рассматривать как собрание личных травелогов (Kristel Zilmer 2005), которые в совокупности подчеркивают значимость

---

\* Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 07-01-00058а).

путешествий, с одной стороны, и указывают на вполне реальный факт существования в древнескандинавском обществе традиции рассказывания/записи историй о предпринятых путешествиях – с другой. В природе человека – путешествовать и рассказывать об этом. Рассказ путешественников о своих поездках – общее место в сагах. Иначе говоря, сначала человек путешествует, а затем рассказывает о своем путешествии, чтобы о нем знали и другие (и как бы приняли в нем участие). Из большого числа примеров в саговых текстах можно заключить, как важны были устные рассказы о путешествиях. Для самого путешественника было важно, чтобы о его странствиях говорили. Тем самым, в связи с путешествиями развивалась особая повествовательная культура.

5. Из способов описания путешествия я хочу в данном докладе остановиться лишь на том, когда описание, собственно говоря, элиминировано. «Они отправились и не останавливались до тех пор, пока не приехали...» – эта стереотипная формула широко распространена в сагах для описания путешествия, о котором либо нет сведений, либо сведения не представляют никакого интереса. Вариант «путевой формулы»: «... и ничего не говорится об их поездке, пока они не приехали...». Я воспринимаю использование авторами саг «путевой формулы» как следствие «точности» пространства (мой термин) на ментальной карте средневекового скандинава («представления географического пространства как пространства отдельных точек (локусов), незаполненности “промежуточного” пространства» (Д.Н. Замятин. Феноменология географических образов; «локусность» – термин Е.А. Мельниковой. Образ мира. 1998: 14). Очень существенно, что «точность» эта – тематическая: на каком-то отрезке пути отсутствуют интересующие автора и его аудиторию события. В этом смысле в сагах сближаются пространство и время, поскольку нередко можно встретить утверждение типа: «прошло три года, за которые ничего не произошло» (я бы назвала это «временной формулой»). И в том, и в другом случае (и в пространстве, и во времени) автору просто не о чем рассказывать, просто «ничего не произошло», достойного описания или даже упоминания.

6. Правомерно ли применение при анализе саг термина «формула»? Так сказать, в чистом виде термин этот используется для обозначения такой единицы членения в стихотворных разновидностях фольклора (в устной поэтической [!] традиции), которая определяется М. Пэрри как «группа слов, регулярно используемая в одних и тех же метрических условиях для выражения данной основной мысли» [цит. по: А. Б. Лорд. Сказитель. 1994: 42]. «Во-первых, главное свойство формулы – *полезность*: в отличие от поэта литературной традиции, сказитель устной традиции нуждается в формуле для непрерывного исполнения песни. Во-вторых, в отличие от авторской поэзии, устная традиция не стремится к оригинальности ни в плане содержания, ни даже в плане выражения. Вследствие этого формулы являются *инвен-*

тарными единицами данной фольклорной традиции» [Ю. А. Клейнер. Поэтический язык как язык. 1999]. Саги – безусловная проза, проза, противопоставленная поэзии – тем скальдическим вкраплениям, которые присутствуют в ней и для того, чтобы подчеркнуть красоту этой прозы. И в этой прозе так называемая «путевая формула» тем не менее «полезна» и вполне может восприниматься как «инвентарная единица». Она обладает «регулярностью» (по определению Пэрри / Лорда) и постоянным значением: это – стереотипная формула относительно безостановочного пути, которая применялась в сагах в тех случаях, когда автор не располагал сведениями о каких-либо событиях во время пути.

*Д. Н. Копелев* (РГПУ, Санкт-Петербург)

#### **Мифология политики: морской пролив из Атлантики в Тихий океан в европейских колониальных проектах XVI века**

На заре эпохи великих географических открытий в XVI в. Американский континент и Тихий океан представлялись сказочным пространством, расположенным на пути из Европы в Индию и Китай. Испано-португальская монополия на Индийский, Атлантический и Тихий океаны закрывала молодым европейским военно-морским державам (Англии и Франции) дороги в Азию. Перед ними вставал вопрос – есть ли обходные морские пути, и где лежит пролив, открывающий дороги к сокровищницам мира? Под влиянием геополитических устремлений новых держав сформировалось представление о легендарных проливах в Азию, получивших известность как Северо-Западный и Северо-Восточный проходы. Кроме того, поиск Азии был невозможен без освоения южного направления, и здесь внимание европейцев, в первую очередь, англичан, было обращено к Магелланову проливу.

Мифический пролив помещали, например, в северной части Атлантики или в Центральной Америке. В существовании воображаемого пролива, ведущего из Европы в Азию, были убеждены многие крупные мореплаватели. Его безуспешно искали Ж. Картье, Х. Гилберт, М. Фробишер, Д. Дэвис, С. де Шамплейн, Г. Гудзон; он был описан и нанесен на некоторые карты того времени (первое упоминание в 1562 г. Дж. Гастальди, карты П. Форлани 1565 г. и Залтиери 1566 г.).

Одной из первых попыток придать поискам легендарного пролива политический подтекст, стало плавание Джованни да Веррацано, флорентийца на службе короля Франции Франциска I. В 1524 г., двигаясь вдоль атлантического побережья Северной Америки севернее мыса Хаттерас, он обнаружил «косу в милю шириной и около 200 миль в длину», за которой открывался широкий морской простор. Мореплаватель принял его за «Восточное море», омывающее Азию, предположил, что это и есть таинственный Северо-Западный проход и поспешил на-

звать открытые земли в честь короля – Францисканией. Право на владение несуществующим проливом немедленно было зафиксировано в картографии. На карте мира Весконте де Маджоло (1527 г.) рядом с названием «Францискания» (или «Франческа») автор изобразил флаг с гербом французских Валуа. Брат Джованни да Веррацано, Джироламо, на карте 1529 г. заменил это название латинским *Gallia Nova* («Новая Галлия») и «застолбил» уже тремя французскими флагами. Картье: пользуясь картой Веррацано, попытался найти дорогу в легендарное королевство Сагений, пройдя вверх по реке Св. Лаврентия через непроходимые пороги Лашин (Китай), но безрезультатно.

Поиск загадочных проливов стал ключом в английских колонизационных проектах. В 1593 г. фламандский картограф Й. Хондиус изготовил в Амстердаме карту «*Vera Totivs Expeditionis Nauticae*». Автор, хорошо знакомый с хранителем архива Тауэра Т. Талботом, получил, видимо, возможность скопировать карту Дрейка, сделанную по его заказу в Лиссабоне португальскими картографом Ваш Доураду. Корсар преподнес ее королеве после возвращения из кругосветного плавания. К югу от Магелланова пролива на карту были нанесены острова под общим названием «Елизаветинские». Вероятно, имя королевы попало в топонимику Испанских морей в октябре 1578 г., когда шторм загнал корабль Дрейка в воды, в которых до него не было ни одного человека. Инициативу верноподданного Дрейка подхватил Р. Хоукинс – после его плавания воды в районе Магелланова пролива дополнились названиями «Залив Елизаветы» и «Английский залив».

В 1600 г. в изданных Р. Хаклюйтом «Основных плаваниях английской нации» была помещена карта Райта. Если у Хондиуса «Елизаветинские острова» находились между южной оконечностью Южной Америки и *Terra Australis*, то на карте Райта к югу от Огненной Земли были помещены т.н. «Острова Королевы», а еще южнее простиралось открытое море, сообщение о котором встревожило испанского посла. Получалось, что в Тихий океан можно было бы пройти не только Магеллановым проливом, который испанцы начали укреплять после прохода Дрейка – южнее пролива, вокруг мыса Горн, открывалась вторая дорога.

На карте Хондиуса было помещено еще одно любопытное название – «Новый Альбион». Так, летом 1579 г. Дрейк назвал «королевство», расположенное на побережье Верхней Калифорнии. Он возвел в бухте Форт Дрейка, после чего от имени королевы вступил во владение открытыми землями. Можно предположить, что секретность, сопровождавшая возвращение Дрейка в Англию, объяснялась его уверенностью в том, что он открыл загадочный проход Аниан и необходимостью сохранить секрет его местоположения. По сообщению 1620 г. испанца отца Иеронимо де Зарате Салмерона, считавшего, что проливом Аниан является современный Калифорнийский залив, португальский кормчий Хо-

пера ок. 1585 г. появился в Новой Галисии и рассказал губернатору, что служил на корабле Дрейка и был высажен им неподалеку от пролива.

Что же получается? Найдя на месте *Terra Australis Incognita* южнее Магелланова пролива водное пространство, Дрейк принял найденные здесь острова во владение королевы и дал им всем название «Елизаветинских». Пройдя вдоль побережья Америки, он вступил во владение землями, лежащими, по его мнению, на кратчайшем пути из Европы в Азию – в районе пролива Аниан. Корсар назвал их Новым Альбионом и возвел крепость, которая могла стать опорной базой продвижения англичан в Китай и Индию и перекрывала западный выход из разыскиваемого всеми Северо-Западного прохода.

Одновременно с Дрейком, Фробишер во время арктического плавания 1576 г. вошел в узкий залив, который принял за Северо-Западный проход (совр. пролив Фробишера) и посчитал, что дорога в Китай открыта. Он полагал, что к северу от него – Азия, с юга – Америка (в действительности это современные полуострова Холл и Мета-Инкогнита). Думая, что перед ним восточный вход в Северо-Западный проход, Фробишер начал строительство форта. В результате, в руках Английской короны оказались оба пути в Тихий океан – южный (вокруг мыса Горн) и северный (по Северо-Западному проходу), вход в который блокировали крепости Новый Альбион и Мета-Инкогнита. До открытия навигации по Северо-Западному проходу оставалось еще несколько веков, а политики уже начали делить воображаемое пространство.

*М. С. Бобкова* (Институт всеобщей истории РАН)

#### **Комментарий исторического источника в контексте современной историографической ситуации**

Очевидно, что ни один из историков по профессии, образу мышления или образу жизни не избежал «жгучего соблазна текстом...». Историки текст читают, переводят, комментируют, анализируют, реконструируют, определяют, авторизируют и производят другие многочисленные интеллектуальные манипуляции с одной единственной целью, которая звучит довольно банально – понять текст. И эта цель в исследовательской практике превращается почти в единственное средство реконструкции прошлого.

В исследованиях целого ряда коллег в современной историографии нас очень настораживает одна вещь. Базовый комплекс, например, античных или средневековых источников четко очерчен и уже представлен в основном как хрестоматийный и конечный. Значит неоткрытое, неизвестное можно скорее искать в уже известном, чем надеяться на обнаружение каких-то новых объектов исследования. Но если в принципе все известно, то образ предшествует предмету (возьмите

«Введение» любой квалификационной работы). И получается, что привычная рационалистическая картина мира оказывается перевернутой: «закон предшествует факту, а репрезентация реальности предшествует самой реальности». Зачастую исследователи исходят из общих, уже известных и общепринятых характеристик и «вписывают» в механизм его действия свой источник, скорее всего, неосознанно совершая акт насилия над реальностью текста.

Вероятно, с поисками разрешения этого исследовательского парадокса связано появление новых методологических подходов. В традиционных историографии и источниковедении, а также в инновационном направлении, каким является для отечественной науки история исторической культуры, конкретно-исторический анализ представлений о прошлом как важнейших элементов социального, политического и этноконфессионального сознания возможен только на основе строго научной интерпретации текста исторического источника. Выработка новых методик и методологии конструирования текста исторического источника и их апробация возможны, на наш взгляд, только на основе междисциплинарного, конкретно-исторического и текстологического методов. В связи с этим представляется крайне важным определить общие и частные принципы комментирования; выявить историческую ретроспективу и перспективу феномена комментирования и его актуальное состояние; место и роль в историческом исследовании и, шире, в системе современного гуманитарного знания.

Составление комментария к тексту является самостоятельной научно-исследовательской задачей, направленной на максимально полную интерпретацию исторического источника в контексте соответствующей исследовательской парадигмы. Этот тезис подтверждается всем опытом немецкой позитивистской историографии XIX века.

В современном профессиональном сообществе историков назрела насущная потребность в постановке указанной исследовательской проблемы. Это связано с целым рядом причин, а именно:

1. В контексте динамично меняющихся научных парадигм очевидна необходимость выработки единых принципов и подходов к составлению и оценке исторического комментария. Выработка общих правил комментирования при подготовке публикаций источников приобретает особую важность для серийных академических публикаций.

2. При подготовке профессиональных историков в высшей школе в курсе источниковедения до сих пор не акцентируется проблема составления исторического комментария и его отличий от источниковедческого анализа, т.к. они не выявлены на уровне теоретической научной разработки. Соответственно не формулируется и не реализуется в полной мере одна из важнейших для профессии историка задач, а именно – обучение студента комментированию текста исторического источника.

В этой связи в изучении истории исторического знания особое внимание должно уделяться анализу целей и задач, которые выполняет комментарий к тексту в системе гуманитарных наук; типологизации комментариев и характеристике их особенностей; выявлению специфики исторического, филологического, философского, культурологического комментария. В контексте результатов компаративного исследования функций комментария к тексту в гуманитаристике в целом, возможна выработка и систематизация базовых принципов составления профессионального исторического комментария к различным по типу и времени происхождения историческим источникам.

В контексте тотального кризиса гуманитарного знания, базировавшегося на принципах модернистской философии (будь то марксизм, гегельянство, кантианство и пр., с приставками «нео-» или без них) обращение к проблеме комментирования позволяет искать наиболее внятные ответы на различные постмодернистские вызовы именно потому, что, работая в поле теории лингвистического поворота, мы формулируем новые принципы восприятия текста. Изучение феномена комментирования в курсе историографии позволяет приблизиться к «внетекстовой реальности» автора текста, а также его комментаторов.

Смысл интерпретации текста источника состоит в приспособлении данного текста к новым контекстуальным условиям. Одним словом, прошлый или «пришлый» текст (а других в нашем распоряжении нет!) должен стать понятным, внятным здесь и теперь, не меняясь. Поэтому, задача рассмотрения исторического комментирования как неотъемлемого компонента научного осмысления текста должна формулироваться как базовая для понимания и трансляции знаний о прошлом.

*Н. А. Селунская* (Институт всеобщей истории РАН)

**История права и общины итальянского средневековья:  
(современные перспективы изучения, или «как это не было»)**

Крайне претенциозный стереотип историописания, созданный XIX веком и воплощенный в лозунге Ранке – показать «как было на самом деле» – на излете прошлого века сменил более реалистичный призыв: путем исторической критики и скептической саморефлексии историка, борьбы с историческими мифами, историографическими стереотипами, обозначить, по крайней мере, «как это не было в истории».

История средневековой Италии – с ее невиданными для доиндустриального периода сохранными массивами источников – делает натяжение между полюсами этих двух историй весьма ощутимым. С одной стороны, в такой ситуации, ценность каждого вновь вводимого в научный оборот исторического свидетельства неизмеримо меньше, чем, например, в антиковедении, или даже истории Византии. С другой сто-

роны, возможности «экстенсивного» развития исследований в такой ситуации практически неисчерпаемы, и консервирование многих архаичных исследовательских практик и представлений (о «репрезентативности» источников, «новизне» и «результативности» их изучения) неизбежно. В континуитете псевдо-объективистской парадигмы знания, в продолжении попыток убедить себя и читателя, что серийное исследование и массовый материал хотя бы на локальном уровне показывает именно *wie es eigentlich gewesen*, «виноваты» именно богатые документальные ресурсы, которые и создают иллюзию доступности и продуктивности позитивистского познания истории.

Антагонист этой традиции историописания весьма неоднозначен. «История, какой она не была» – обоюдоострый инструмент историописания. С одной стороны – это своеобразный апофатический метод создания исследования и отражающего его нарратива. Мы не все можем узнать о жизни социума и индивида прошлого, но можем исключить самые нереалистические, на наш субъективный взгляд, сюжеты. С другой же стороны – «история, какой она не была» – это проблема мифотворчества, закрепленного в историографической традиции.

Это мифотворчество имеет не только негативные, но еще и позитивные последствия для перспектив изучения отдельных феноменов, например, основных институтов и социумов средневековья – общины и сеньории, а также общей картины социальной жизни в многообразии ее взаимосвязей и проявлений. Без такой (идеологизированной историком) картины прошлого, без создания большого нарратива, пусть не критично реконструированного широкого исторического контекста, бывает невозможно реализовать имеющиеся частные наработки и исследовательские результаты, выстроить их в определенной перспективе. Фокусирующей линзой, усиливающей значение частных исследовательских результатов, являлась историографическая традиция описания коммуны и сеньории, а еще шире – правовые свидетельства и правовая история средневековья, отражающие в этом преломлении сферу вассальных отношений, отношений по поводу феодалов, функционирование сеньориальной власти и общинного самоуправления и т. д.

Существует долгая традиция изучения как сеньориальных структур, так и коммун средневековой Италии, обычно рассматриваемых сепаратно. При этом язык описания сеньории и коммуны, даже представляемых историками в качестве крайних антагонистов, был одинаков. Более того, это был язык историков права, в котором понятия и термины употреблялись с большей вольностью. Как только одно из таких понятий было уличено в неисторичности, вторичности, заимствованности из сферы истории права [Reynolds S. *Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted*. N.Y.-Oxford, 1994; Eadem. *Kingdoms and Communities in Western Europe 900-1300*. Oxford, 1997. 2 ed.], вся традиционная картина мира историков-медиевистов покачнулась (по

крайней мере, тех историков, которые были не лишены известной саморефлексии, и не могли отрицать очевидной зависимости историка от привнесенных в историческое поле чужеродных концептов).

Естественно, историк хочет сосредоточить исследование на взаимодействиях и сосуществовании множества малых социумов, в их социально-правовых проекциях. Осуществление права является таким взаимодействием, поэтому историк с неизбежностью встает на путь изучения правовых источников, нормативных правовых свидетельств и черпает из них материал для создания нарратива. Важно не начать использовать свидетельства правовых памятников (пусть даже после технической обработки путем источникововедческих приемов, например, количественных методов), в качестве «объективных показателей».

С другой стороны, последовательное разоблачение всякого мифотворчества, изгнание стереотипов историографической и источникововедческой традиции, приводит к столь же опасной ситуации. Вместо тотального видения мы получаем полностью лишенную связности историческую картину, которая соответствует шизофреническому, а отнюдь не историческому сознанию. Все признаки становятся в этой системе координат равновеликими, а попытки выделить из массива данных системообразующие показатели делаются невозможными. История тонет в потоках неотрефлексируемого краеведческого материала.

Историографическая традиция или школа, в которой временно устанавливается такое положение вещей, вынуждена рекрутировать новых мифотворцев, склонных мыслить глобально, для воссоздания равновесия в иерархии ценностей, оценок и моделей описания. В некоторых случаях такие ученые рекрутируются из новой генерации национальной школы историографии, а в других – при невозможности слома собственных стереотипов организации научной деятельности – призываются извне, из иных историографических школ и традиций.

В выступлении будут рассмотрены некоторые примеры и приметы историографических школ, а также выделены персоналии медиевистов разных поколений, сыгравших особую роль в создании общих перспектив рассмотрения истории итальянской коммуны в различных контекстах: экономическом, правовом, политическом поле развития. Особое внимание будет также уделено обзору современных инициатив итальянских медиевистов, связанных с проблематизацией отдельных широко употребляемых понятий и терминов и с развенчанием некоторых традиционных стереотипов, и вынесенных в Интернет-пространство, видимо под давлением более консервативной академической среды. Также будут рассмотрены перспективы и претензии другой дисциплины – истории права, накопившей в последние десятилетия ценный источниковый материал – создать историю по модели «как это было».

**Использование образов прошлого в общественной мысли Англии  
на заключительном этапе Столетней войны**

Актуализация прошлого характерна для общества «и в дни побед, и бед народных». Английская монархия 30-х гг. XV в. оказалась перед лицом военно-политической катастрофы в Столетней войне. В сложившихся обстоятельствах понятны попытки переосмысления целей войны, нового видения ближайшего будущего королевства. В анонимном трактате «Маленькая книжечка об английской политике» наблюдается процесс формирования новых стратегических установок на основе традиционных мифов о былых славных временах английской истории.

В целом, выражая интересы общества, автор трактата целенаправленно эксплуатирует «память» о славе английских монархов былых времен. Можно говорить об изменении ценностных представлений, влиявших на поведение социума в конкретно-исторической ситуации названного времени. Трактовка традиционных образов и символов исторической памяти меняется весьма существенно. Одна из линий рассуждений в трактате пытается по-новому оценить торговые связи Англии, в т. ч. с Фландрией. Сложившееся за многие десятилетия представление о традиционных торговых партнерах и конкурентах недоброжелательно, полно подозрений, явной неприязни при жизненной необходимости этих отношений для английского государства. Признавая необходимость торговли, автор весьма критичен в оценке ее результативности. Фландрские города начали всё более склоняться к поддержке французской короны (вслед за англо-бургундским разрывом 1435 года в Аррасе) – поворот в политике городов и есть причина неприязни. Но фламандцы без товаров английских купцов, если они уйдут с их ярмарок, если будут заблокированы порты Фландрии и Нижних графств – этого достаточно, чтобы превратить ненадежных союзников, а то и врагов, в союзников. Были когда-то времена, при которых подобных антианглийских настроений трудно было ожидать. Символом тех времен является изображение английского монарха на Большой королевской печати. На аверсе он восседает на троне, на реверсе – на коне. Таков символ власти короля на суше, по обим берегам Ла-Манша. На золотом нобле того времени – король сидит на корабле, олицетворяя мощь короны и на море, реальную и неоспоримую. В другой части поэмы основной тезис сочинения сводится к укреплению именно морской мощи королевства, отказу от войны на суше, на материке. Ресурсы Ирландии могут дать больше, чем война во Франции. Образ монарха, восседающего на корабле, дополнен панегириком трем королям – Эдгару, еще англо-саксонских времен, Эдуарду III и Генриху V. В их правле-

ние, утверждает автор, англичане одержали самые громкие победы на море и не было в те времена равных англичанам на морских просторах.

Примечательно, что названные образы-события, образы-личности, образы-символы с таким же успехом использовались в 1415 г. при возобновлении Столетней войны. Однако тогда они скорее утверждали право английской короны на оспаривание прав французской короны. Историческая реальность конструировалась на основе не «достоверных фактов» и «подлинных событий», а тех образов, которые обрели свою социальную значимость в начале правления второго Ланкастера. Через 20 лет в трактате говорится об отказе от такого противостояния. Репрезентация прошлого воспроизводится в измененном социальном контексте, в интересах общества, а не отдельных придворных группировок.

*Г. В. Бакус* (Тверской ГУ)

#### **Ratio и традиция в немецких демонологических сочинениях позднего Средневековья**

С лёгкой руки Х. Тревора-Ропера исторический лексикон обогатился едкой метафорой *Witch-craze* – «помешательство на колдовстве», «одержимость ведовством», – на русский язык это выражение можно переводить по-разному. Учитывая это обстоятельство, а также то, что ответственность за само возникновение Охоты на ведьм, как правило, возлагалась исследователями на представителей учёной культуры позднего Средневековья, остаётся открытым вопрос: применимо ли к учёной культуре определение «интеллектуальная» и что определяло её специфику? Мы полагаем, что своеобразие интеллектуальных практик Позднего Средневековья определяется иными (по сравнению с новоевропейскими) механизмами актуализации и проблематизации рассматриваемого материала. Ключевой для нас вопрос: каким образом сочетались элементы рациональности и традиционное сознание авторов тех сочинений, которые в последующем заложили основы для новой традиции осмысления действительности, – демонологии. На примере *De Lanis et Phitonicis Mulieribus Teutonice vnholden vel hexen* Ульриха Молитора, *Der neü Layenspiegel von rechtmässigen ordnungen in Burgerlichen vnd peinlichn Regimenten* Ульриха Тенглера, а также трактата Якова Шпренгера и Генриха Инститориса *Malleus Maleficarum* постараемся проследить каким образом нарративы инквизитора, судьи и княжеского советника складываются в демонологический дискурс.

Три эти книги между собой во многом отличаются. Так, если «Молот ведьм» следует схоластическим канонам рассуждения, то сочинение Молитора тяготеет к ренессансной манере организации материала,— это диалог, которому предшествует послание-epistola, т. е. демонологический трактат по форме изложения одновременно организован

в два наиболее популярных гуманистических жанра. Причём, что интересно, Молитор сам раскрывает мотивацию своего к ним обращения: «Etenim cū apud prisces oratores Dialogus plerun[que] aliquid iocundioris delectationis afferri existimatus est, idcirco praesenti in tractatu per viam Dialogi imò Trilogi procederem decreui» («Ибо большинство древних ораторов полагало, что диалог приносит нечто забавное и привлекательное, посему я уменьшил предстоящее выступление в трактате по способу диалога или триалога»). А сочинение Ульриха Тенглера вообще во многом следует «низовым» формам культуры.

Однако противоречивость формы, а зачастую и содержания, не исключала интерпретации этих текстов в рамках единого интеллектуального контекста, который условно можно охарактеризовать как де-монология. Более того, упомянутые выше различия не смогли воспрепятствовать складыванию специфического способа осмысления актуальных проблем современной им действительности. Эти тексты сами послужили основой для новой европейской традиции, наиболее наглядно это выразило то обстоятельство, что по прошествии определённого времени издатели взялись механически объединять наиболее выдающиеся трактаты. Пример – издания печатни Николая Бассея во Франкфурте-на-Майне. Так, в 1580 г. было осуществлено издание «Молота ведьм», одним из приложений к которому оказался отредактированный издателем трактат Ульриха Молитора.

Учитывая то, насколько легко разрозненные тексты оказывались интегрированными в единый корпус, чрезвычайно актуальным представляется вопрос об их авторском своеобразии. Это тем более важно в связи с тем, что историки XIX–XX вв., как правило, отказывали в авторской оригинальности подобным сочинениям, поскольку видели в них всего лишь новый компендиум, составленный на основе освящённых традицией текстов. Это верно отчасти, поскольку интеллектуальной культуре Позднего Средневековья не было знакомо новоевропейское понимание оригинальности, что, однако, не исключает наличие в ней элементов рациональности, к которым оказываются мало восприимчивы представители нашей культуры. Как нам представляется, актуальность для современников каждой новой комбинации уже известного обуславливалась той ситуацией, в которой она производилась, а также личным положением автора. Сведения, которые сообщал, например, Ульрих Молитор потенциальному читателю, могли быть уже ему известны, однако по-новому актуальными их делало то обстоятельство, что они исходили от советника эрцгерцога австрийского Сигизмунда, а также то, что они оказались решающими в некой критической ситуации.

Своеобразие и значимость текста для его аудитории определяла не оригинальность авторской логики, а значение той ситуации или события, которые «вызвали текст к жизни». Важность события (например, – неоднозначность интеллектуальной проблемы, поставившей в тупик советников Сигизмунда Австрийского) «проецировалась» на трактат,

который был написан в ходе (или после) ее разрешения. Недооценка этого обстоятельства привела к тому, что историки XIX–XX вв. предпочли увидеть в «Молоте ведьм» некую поворотную точку, средство преодоления существовавшей прежде церковной традиции. Поводом к такому заключению послужила полемика вокруг канона *Episcopi*, следы которой присутствуют в сочинении Шпренгера и Инститориса. По нашему мнению, такая интерпретация грешит очевидным анахронизмом и упрощением, поскольку игнорирует весьма специфическое отношение средневековых авторов к авторитетам.

Приходится признать, что своеобразие интеллектуальной культуры позднего Средневековья не определяется противостоянием традиции и рациональности, но лежит в несколько иной плоскости. Можно предположить, что рефлексия осуществлялась уже на уровне комбинаторики, и именно поэтому одинаково сложно интерпретировать подобные тексты в рамках как мифологического, так и рационального мышления. Это подтверждает тезис американского антрополога Уильяма Уорнера о том, что в наблюдаемых культурах сознание зачастую оказывается организовано в ряд рациональных последовательностей, которые, как правило, сочетаются между собой сугубо иррационально.

Изоциренность интеллектуальных практик, характерных для ученой культуры позднего Средневековья, позволило Карло Гинзбургу не без изыска сформулировать проблему близости познавательного метода исследователя культурной истории и антропологии и инквизитора – *Inquisitor as Anthropologist*. Именно поэтому интеллектуальная история представляется, прежде всего, историей познавательных процедур и именно это позволяет охарактеризовать историю как науку интерпретирующую, а потому неизбежно преодолевающую собственные границы.

*М. Г. Муравьева* (РГПУ, Санкт-Петербург)

#### **Судебные дела как исторический источник: к вопросу о деконструкции нарратива**

К 1990-м годам существенно расширилось использование правовых материалов, в частности, судебных дел для изучения гендерного аспекта социальной истории. Сдвинув фокус своих исследований на изучение пограничных феноменов функционирования общества, на девиантное поведение, на практики контроля и подчинения, европейские и американские историки стали использовать потенциал судебных дел не только для количественного анализа взаимоотношений власти и общества, но и с целью использования возможностей нарратива самих дел для более глубокого анализа идентичности. Судебные разбирательства разводов (Л. Стоун и его школа), домашнего насилия (Э. Фойстер) стали весьма ценным источником – не в последнюю очередь в связи с

хорошей сохранностью целых комплексов дел в архивах (особенно в Великобритании, в Германии, Франции и США).

Судебные дела традиционно использовались в русской дореволюционной историографии, особенно популярными были имущественные дела и дела о разводах, в больших количествах сохранившиеся в провинциальных и центральных архивах. В конце XIX – начале XX в. были собраны и дела, касавшиеся колдовства в России (Н. Новомбергский). В советские времена традиционно использовались имущественные и разводные дела, но лишь с целью простого извлечения фактического материала. В последние двадцать лет никаких особых методик для междисциплинарного изучения данных источников предложено не было.

Широкое использование судебных дел американскими историками Е. Левиной и Н. Ш. Колман, а также швейцарским историком Н. Бошковской, выявило необходимость исследования уголовных дел для более адекватной оценки положения русской женщины в XVI–XVII вв., однако не оказало решающего влияния на вхождение судебных дел в качестве одного из базовых источников в методологию исторического исследования. Работы А. С. Лаврова, Е. Б. Смилянковой и других специалистов в области народной религии и колдовства, в большей части построенные на изучении судебных процессов над колдунами и ведьмами в России XVII–XVIII вв., хотя и внесли ценный вклад в раскрытие феномена русских магических практик, однако также не заострили внимания на потенциале судебных дел как источника для изучения именно такого рода проблем. Бытописание провинциального города А. Б. Каменским по архиву г. Бежецка предлагает нам лишь общую характеристику архивного комплекса, хотя и с первой попыткой дать классификацию исковых дел и особенностей их рассмотрения.

Следует отметить, что современные историки права (по юридической специализации) в принципе не используют судебные дела, основное внимание сосредоточивая на анализе законодательства.

В рамках разрабатываемой темы криминализации сексуальности в Европе XVIII века, мы обратили внимание на ту бесценную информацию, которую могут предоставить судебные дела, содержащиеся в российских архивах, и не только с содержательной точки зрения.

Судебное дело само по себе представляет особый вид нарратива. Во-первых, это официальный документ, являющийся частью аппарата функционирования государства, однако чаще всего инициатором его создания является индивид (актор), чьи идеи об обязанности государства по защите его/ее прав приводят его/ее в суд. Во-вторых, это формальный текст, документ, содержащий особые лексические единицы (так, например, поскольку английское законодательство определяло изнасилование как «внутреннее познание тела» жертвы, то эту фразу можно встретить практически во всех исковых заявлениях). В-третьих, язык документа может различаться в зависимости от особенностей той

правовой системы, которая присуща данному обществу. В-четвертых, само дело состоит из целого комплекса документов (исковое заявление, резолюция судьи, следственно-розыскные документы, судебно-медицинская экспертиза, опросные листы свидетелей, процедура пытки, процедура вынесения решения, само решение, речи адвоката и прокурора для стран с состязательным процессом, обсуждение присяжными вердикта для стран с судом присяжных), взаимосвязи которых необходимо отслеживать. В-пятых, судебное дело совсем не обязательно предлагает нам «живой голос» прошлого, хотя часто среди формальных фраз судебных протоколов можно увидеть кусочки индивидуального нарратива. В целом, судебное дело, с одной стороны, является показателем функционирования государства, но с другой, представляет общество о функциях государства в отношении сохранения определенных общественных устоев.

Использование судебных дел как историками, так и юристами для изучения социальной и гендерной истории, является большим шагом вперед в области более адекватной оценки обществ прошлого.

*С. В. Голикова* (Институт истории и археологии УрО РАН)

### **Применение анамнестического метода в современном исследовании по исторической демографии Урала XVIII века**

Анамнестический метод был разработан для изучения бесписьменных обществ. Беседуя с информантом, исследователь собирал анамнез по разработанному вопроснику, чаще всего направленному на обнаружение информации по медицинским или репродуктивным вопросам. Упор делался на сохранение у человека воспоминаний о значимых событиях его жизни. Количество опрошенных выступало в качестве естественной выборки, результаты которой распространялись затем на генеральную совокупность – некую локальную общность. Использование данного метода в демографии, прежде всего его соединение с приемами статистики, обосновал в 1920-е годы В. В. Паевский [О применении анамнестического метода в демографии // Вопросы демографической и медицинской статистики. М., 1970. С. 159–227].

Переписчик при проведении современной переписи также опирается на добровольно сообщенные человеком сведения об изменении его демографического статуса за межпереписной период. Однако антропологи имели дело с человеческим «материалом», не «привыкшим» датировать происходившие с ним или его близкими демографические события. Поэтому они эксплуатировали понятие жизненного пути человека, отличающееся большей длительностью. Например, женщин, вышедших из репродуктивного возраста, просили указать, в какие годы жизни они рожали детей. Хотя для специалистов, имеющих дело с традиционным

типом воспроизводства населения, важнее был вопрос о детской смертности, т. е. о том, в каком возрасте матери теряли своих детей. Таким образом, традиционные для демографии вопросы о количестве рождений и смертей получали иную – возрастную – формулировку, а сам анamnстический метод был направлен на изучение «повозрастной интенсивности некоторых явлений человеческой биографии».

Однако в России XVIII века появился источник, информация о населении в котором также была «организована» по «возрастному» принципу. Имеются в виду хорошо известные демографам ревизские сказки, а также создаваемые на аналогичных принципах подворные описи. Их принято считать прообразами современных переписей населения и сводить своеобразие фиксации в них демографических данных к «недостаткам», «недоработкам» раннего периода. Тем не менее, подобные источники содержат уникальный набор информации о народонаселении, поскольку объединяют в себе сразу два основных современных демографических источника: переписи и текущий учет событий. Они гораздо более связаны с текущей регистрацией, хотя их составление чисто внешне похоже на перепись. Соединяющим элементом таких разнородных данных стала категория времени – события имели в них две временные характеристики – возрастную и календарную. А возраст стал тем стержнем ревизского учета, который объединял данные различных ревизий. Соединение материалов текущего учета и переписей происходило в источниках данного типа на уровне отдельной семьи. По сути дела составители ревизий работали примерно так же, как современные исследователи над материалами метрик по методике восстановления истории семей, и оставили в готовом виде материал по истории каждой конкретной семьи. Это во многом облегчает обработку материала, ибо выпадает работа по систематизации первичных данных. К тому же данные ревизского учета в отличие от ретроспективного анамнеза избавлены от несовершенства человеческой памяти.

Проведенный нами анализ ревизских сказок и подворных описей горнозаводского населения Урала за вторую половину XVIII – начало XIX вв. с использованием модифицированного В. В. Паевским анamnстического метода позволяет не только получить достаточно редкие для демографической истории этого времени повозрастные показатели таких процессов, как рождаемость, смертность (в т.ч. и детская), заболеваемость, овдовение и вступление в повторный брак, но и обогатить источниковедческую критику ревизского учета приемами, используемыми в демографической статистике. Методика, примененная к материалам ревизских сказок и подворных описей, позволяет изучить демографическое прошлое в виде целого, длительного периода, описывает не разрозненные события, а дает связную характеристику демографических явлений в их преемственности и непрерывности, обеспечивая тем самым возможность описать основные тенденции развития.

**Записки и путевые дневники православных миссионеров XIX века  
как источник интеллектуальной истории**

Работа православных миссионеров в XIX в. стала достаточно интенсивной после выхода «Устава об управлении инородцев» (1822). Правительство заинтересовалось миссионерской работой в Сибири с тем, чтобы с помощью христианизации русифицировать малые народы. По поручению Св. Синода тобольский архиепископ Евгений (Казанцев) в конце 1820-х гг. составил «проект к образованию миссионеров для более прочного успеха для распространения христианства в Сибири». Отныне в задачу миссионеров входило не формальное «крещение», после которого крещаемые тотчас забывали свои христианские имена, а крестились за подарки (рубашки, иглы, топоры и пр.), а духовное и светское образование, «чтобы вера проникла вовнутрь человека и стала достоянием его жизни». Таким образом, ставилась задача не катехизации (знания Закона Божьего), как это было традиционно принято в России, а евангелизации (восприятия духа христианского учения). Поэтому миссионеры должны были хорошо знать быт и религиозные представления народов Сибири, и, конечно же, языки, поскольку проповедовать они должны были на языках своей паствы. Ситуация с изучением языков в первой четверти XIX в. улучшилась и благодаря тому, что среди священников оказались представители коренных народов или священнослужители, родившиеся в Сибири и хорошо знавшие быт и религиозные взгляды коренного населения.

Записки православных миссионеров XIX века давно используются антропологами как источник для исследования культуры коренных народов Сибири и Аляски. О значимости этого источника говорит и тот факт, что записки издаются и сейчас. Так в 2002 г. в Тюмени были опубликованы «Путевые журналы миссионеров Обдорской миссии (60–70-е гг. XIX века)», представляющие огромный интерес не только для исследователей культуры коренных народов Севера, но и для исследователей народной религиозности. Миссионеры писали: «...почитатели суеверия и преданий предков, они по-прежнему чтут своих богов и духов, но в то же время, как люди крещеные, носящие крест на шее, они не отказываются жертвовать и Великому Духу новой своей религии. Жертву свою, за отсутствием попа, они в простоте души приносят Богу непосредственно, без посредника, пряча приносимое в укромное место храма (под кровлей, в водостоке и в других подобных, действительно одному Богу только известных местах). Потребовалось такое экстремальное событие, как ремонт храма, дабы места эти сделались известными и другим людям – рабочему, ремонтировавшему храм. По словам

этого рабочего, найдены были при этом одни лишь деньги, преимущественно серебряными монетами...».

В меньшей степени записками и журналами миссионеров интересуются историки, хотя они могут быть чрезвычайно полезны при исследовании государственной политики в области религии. Так, в миссионерских дневниках (с 1853 г., когда Николай I утвердил «Положение о ламайском духовенстве в Восточной Сибири») прослеживается покровительственное отношение государства к буддизму, который в этот период чрезвычайно активно распространяется по территории Забайкалья, порой даже в ущерб православию). Интересно, что первый отечественный труд, посвященный буддизму был написан священником. Это «Буддизм, рассматриваемый в отношении к последователям его, обитающим в Сибири» (СПб., 1858) епископа Нила (Исаковича).

Однако не слишком часто приходится сталкиваться с анализом мировоззрения самих авторов записок. Интересно проследить, как в течение столетия изменяется восприятие ими культуры коренных народов Сибири: от взгляда на подопечных как «малых детей» и «дикарей», вполне логичным последствием чего была русификация этих народов, до уважительного отношения к традиционной культуре, что наиболее ярко проявилось в трудах Иннокентия (Вениаминова) и Дмитрия Васильевича Хитрова. Они считали, что русификация разрушает хозяйственные и охотничьи привычки коренных народов, ведет к падению нравов, пьянству и пр. В своей пастырской деятельности они учитывали условия жизни своей паствы. Д. Хитров даже разрешал своей пастве не соблюдать пост и вступать в близкородственные браки, поскольку иное было невозможно. Но в то же время, он стремился уничтожать любые намеки на поклонение духам среди крещеных (сжигал шаманские бубны). Его младший современник священник Андрей Иванович Аргентов отличался еще большей терпимостью (а вернее, уважением к традициям). Аргентов – автор чукотско-русского словаря с заметками по грамматике и других сочинений, многие из которых еще ждут публикации, – в своих заметках большое внимание уделял народной религиозности крещеных чукчей, которые приняли христианство, уверовав, что «Велик Бог русский», дающий своим людям железо, сталь и оружие. Он уже не воспринимает шаманов как «бесслужителей», а смотрит на них, скорее, как ученых, даже допуская пользу. Аргентов писал: «шаман – мудрее... Мудрец, которому, из любви к искусству, природа сооблаговолила открыть некоторые из тайников своей премудрости на пользу людям». В другом месте он отмечал: «Одним своим визитом много пользы дает шаман больному. Надо согласиться, что смысленные шаманы полезны там, где до лучшего не доросли».

Даже при столь кратком обзоре становится ясно, какой богатый материал для междисциплинарных исследований культуры и религии России XIX века предоставляют нам труды миссионеров.